

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал  
Харьковского отделения Союза писателей России

---

Том 19  
2013

ХАРЬКОВ

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

*Ганичев В.Н.* — председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

*Котькало С.И.* — сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

*Скворцов К.В.* — секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.  
Переписка с читателями по усмотрению редакции.  
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru  
тел./факс +38 (057) 700-40-25

# ПОЭЗИЯ ЗИМЫ

Сергей ШЕЛКОВЫЙ

## РОЖДЕСТВО

Между пламенем жёлтым и белым морозом  
возникает бубенчатый зов Рождества,  
между слабым ответом и вечным вопросом  
быть не может и нет никакого родства.  
Но и то хорошо, что морозно и снежно  
в некрещённой и тысячезвёздной ночи.  
Пахнет хлев молоком, и колышется нежно  
то ли имя души, то ли пламя свечи.

А когда пеленает Мария младенца,  
очи добрых животных лелеют вертеп,  
и ягнёнок, ложась, подгибает коленца,  
и вдыхает ноздрями соломенный хлеб.  
Зазвенит бубенец, колокольчик на шее,  
а Иосиф ладонью потреплет руно,  
чтобы агнец тучнел, завитками белея,  
ибо взыщет горячего мяса вино.

Но ни лунам, ни глинам назад не вернуться –  
ночь Святая сбылась, и все прежнее – сон,  
и на завтра во всём Вифлееме проснутся  
чада, камни, смоковницы новых времён.  
Между жизнью короткой и правдою долгой  
прохудилось до дыр одеяло родства.  
Нитка рвётся, и палец изранен иголкой...  
Но студёная ночь дышит хвоею колкой,  
но трепещет в пещере огонь Рождества.

Мария ГРАБОВСКАЯ

\* \* \*

Небо отодвигается. Холодней.  
Запахи резче, звонче: следы и шерсть.  
Сколько ночей прошло? Вероятно, шесть.  
Станет зима. И снег зародится в ней.  
(Отдых пребудет. Это — седьмая ночь).

Отдых пробудит тысячи мелочей.  
Внутренности солонки — осколки льда.  
Мерзлый собачий лай — и металл ключей.  
Чувство, что щиплет нос, что в окне — слюда.  
(Это послед от снега застыл в стекле).

Это последний осознанный взгляд назад.  
Сдать на хранение чувства погорячей.  
Сколько осенних запасов: не развязать,  
Не перебрать по зернышку. Калачей  
Нам из внезапной белой муки не печь.

Грани зимы почти ощутимы, но  
Не ощутимы. Видели ли вы:  
Как цветочные пятна, клочки листвы,  
Где-то у ног, почти не касаясь ног?  
Снег начинается. Значит, летим, летим!

## Сергей ПОТИМКОВ

\* \* \*

Как снег летит!  
    (Он неподвижен).  
Блестит без блеска белизна.  
И только я все это вижу,  
сходя, как с поезда, с ума.

Пусть день безумный полетает,  
как снег, похожий на него.  
Пусть невозможное растает,  
чтоб не тревожить никого.

Как снег летит!  
    (Он неподвижен).  
Не он, а я лечу в туман.  
И отступает дальше (ближе)  
неон несбывшихся реклам.

Какая снежная пустыня  
раскинулась на сотни верст!  
Зрачки раскрашивает иней  
мерцанием горючим слез.

Я наблюдаю все, что будет,  
калейдоскоп вращая вьюг.  
Я знаю: снег меня забудет.  
Не торопись. Невольно. Вдруг...

## Светалана СМОЛЕНСКАЯ

\* \* \*

Неслышный, неспешный, не колкий  
снег даст утешенье займы.  
И мне уготована койка  
в больничной палате зимы.

И мне, упомянутой всуе,  
в палате зимы белоснежной  
по капельнице сосуллек  
надежду введут неизбежно,

целебную дозу мороза  
глотать ежечасно вменят.  
И мне пребывать под наркозом  
январского яркого дня.

Заливистая синица,  
свою демонстрируя прыть,  
научит по-птичьи молиться,  
уныния грех искупить.

И мне, упомянутой свыше,  
дозволено будет взамен  
вконец изболеться и выжить  
для будущих перемен.

Наталия БАЛАНОВСКАЯ

## МОЙ СВЕТ

(диптих)

### 1.

В зимней сказке город спит,  
белой маски не снимая.  
Под ногою снег скрипит,  
родину напоминая.

Там, в далёком-далеке –  
кедрачей родные лица,  
там позёмка на реке  
предрасветная клубится.

Мне бы полететь туда –  
поиграть с морозом в прятки...  
Да не те уже года.  
Да препоны.  
Да рогатки...

### 2.

О чём ты сокрушаешься, мой свет?  
Что в кошельке не слышен звон монет,  
что на дворе – мороз и гололёд?  
Но погляди: рождественник цветёт!

День зимний скуп на свет и на тепло,  
и дышит холодом оконное стекло,  
цветочному горшку немало лет...  
Чему ты улыбаешься, мой свет?

Алексей БИНКЕВИЧ

### ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег, первый снег, первый снег...  
Первый снег — мы под ним, как во сне.  
Первый снег, первый снег, первый снег —  
будто твой удивительный смех.

Первый снег, первый снег, первый снег,  
я тебя обнимаю при всех,  
я тебя обнимаю при всех,  
а над нами сиреневый снег.

Первый снег замечает дворы...  
Первый снег на губах детворы...  
Первый снег над равниной полей,  
на ладонях любимой моей.

Будет много метелей порош,  
первый снег, до чего ж ты хорош.  
Твой, на редкость, удачен забег...  
Первый снег, первый снег, первый снег...

Первый снег мой, ты выпал давно.  
О тебе пел Дассен, Адамо...  
Первый снег, о, как я тебе рад,  
будто ты — обрётённый мной брат.

Первый снег, ты, как искренний друг,  
от тебя все в восторге вокруг!  
Я тебя обнимаю при всех,  
а над нами сиреневый снег...



Леонид ОСИПОВ

\* \* \*

Зима – всерьёз. Бросайте игры,  
Перевирая красоту,  
Когда на чёрных ветках иглы  
Хрустальным крошевом растут.

Грядёт эстетика сугроба,  
Грядёт архитектура льда,  
И перед ней смолкает робок,  
Рассудок каменного лба.

Шесть направлений совершенства,  
Срастаясь, сводят нас сума.  
Так перемалывай и шествуй,  
Невыразимая зима!

Александр ТИХОНОВ

### МЕЖСЕЗОНЬЕ

Первый снег, как первый блин –  
Комом.  
До апреля у земли  
Кома.  
Зло стучит в моё окно  
Ветер.  
Солнце греет плохо, но  
Светит.  
Там, докуда достаёт –  
Тает.  
А зима берёт своё...  
Стая  
Неприкаянных ворон  
Ищет  
Меж заснеженных дворов  
Пищу.  
...И пока что не поймут  
Люди,  
Что с сугробами к утру  
Будет.

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

### ГОЛОЛЁД

Гололёд, гололёд – ах, какой гололёд!  
На деревьях – хрусталь, под ногами – стекло.  
То ли сердце в разгон, то ли мысли в разлёт,  
То ли попросту время моё истекло?..

Так смертельно опасно скользят каблуки,  
Ненадёжны шаги, ненадёжны слова,  
И решенья трудны, а поступки легки,  
И опасно кружится моя голова.

Где ж метели твои, забубённый январь,  
Вязь следов, снегири, голубые снега,  
Скрип полозьев и лыж, беззаботный, как встарь,  
И сугробы, как белые берега?

Отрываются ноги от тверди земной,  
Устремляется тело в астральный полёт –  
Лишь осколки души просверкают за мной...  
Гололёд, гололёд – ах, какой гололёд!

## Константин САВЕЛЬЕВ

\* \* \*

Метели разомнут осенние червонцы.  
На север проводив последнюю пургу,  
глядишь, оторопев: полуденное солнце  
ликует и кипит на мартовском снегу.

Шахтёрский городок, где все дома — калеки,  
перину натянул и выдыхает сплин.  
А снег — ещё мохнат. И неприметны реки.  
И царственен покой блистающих равнин.

И слыша, как с небес нисходит литургия,  
себя, как тот барон, подняв за волоса,  
ты завтра бросишь пить — на сутки иль другие...  
Растерянно молчишь. И веришь в чудеса.

Ирина ПОЛЯКОВА

\* \* \*

В день светлый, выбеленный снегом,  
Мне думать с самого утра  
Про неприятности – со смехом,  
Немыслимым ещё вчера.

Про смерть, и то – такая малость!  
Как будто мне самой не раз  
И умирать уже случалось,  
И возвращаться, воскрешась.

Открою вдруг, что все тревоги  
И неудачи далеки.  
Пройдусь, в снегу согрею ноги  
И варежку стяну с руки.

И оглянусь: от взрослых втайне  
Снежок холодный проглочу,  
И снег водой живою станет,  
Которой раны залечу.

## Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ

\* \* \*

Дождится январь, привнося необычность:  
Где снега голубые, вьюга-пурга?  
По лужам в Крещение ходить неприлично,  
Но что это — в небе цветная дуга!

Висит коромыслом, цветёт семицветьем  
Так, словно бы мост между мной и тобой.  
Шагну осторожно и вскрикну: — Ответь мне,  
Не здесь ли светящихся звезд водопой?

Когда засыпают и звери, и птицы,  
И радугу глазом нельзя различить,  
Не здесь ли луна примостилась умыться,  
Не здесь ли играют живые ключи?

Не этот ли мост нам предвестником счастья,  
И не случаен сочельника дождь?!  
Нам, слышишь, пора бы уже повстречаться,  
Надеюсь, на радужный свет ты придёшь...

## Анатолий СТЯПКО

\* \* \*

В день всепрощающей любви,  
в день светлокрылый Валентина,  
любимой имя назови  
так тихо, чтобы паутина  
застывших веток над тобой  
не дрогнула, не покачнулась.  
Едва заметно под стопой  
дорожка снежная прогнулась...  
Звучит извечно юный альт  
из глубины имперской Рима...  
А с неба – дождик на асфальт  
и тихий-тихий зов любимой.

Римма КАТАЕВА

**СТРАННАЯ ЗИМА**

Мороз и солнце! Но – без снега...  
Бедняга Пушкин удивлён:  
Идёшь – и никакого следа,  
Зимы насмешливый сезон.

Блестящие седые крыши...  
Застывший голубой фонтан...  
А в парке еле-еле дышит  
Весь промороженный каштан.

Посвистывает сквозь бульвары  
Нездешний острый ветерок.  
Среди спокойных тротуаров  
Пульсирует литой каток.

А солнце?! Солнце пышет жаром,  
Но так его сковал мороз,  
Что небеса, страдая жаждой,  
Готовы миру бросить «SOS!»

Вот-вот уже январь наступит  
И переменит зимний бег,  
И чьи-то разморозит судьбы  
Нечаянный внезапный снег.



## ПРОЗА

Александр КЕРДАН

**БЫЛИ-НЕБЫЛИ**

(этюды о нравах)

## ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Слышимость в новых ДОСах , была такой же, как в гостевой комнате знаменитой Невьянской башни, где подполковник Нахимчук побывал, проверяя местный военкомат. По великому благу невянский горвоенком провёл его к этой демидовской диковине, расположенной на территории режимного завода. По словам военкома, наклон у башни был больше чем у Пизанской, в затопленных подземельях скрыта тайна чеканки демидовской серебряной монеты, а в самой башне оборудована та самая гостевая, где каждый шепоток был слышен в любом углу. И в своём ДОСе, благодаря хлипким межквартирным перегородкам, Нахимчук знал о жизни соседей практически всё: когда ложились, когда вставали, даже звяканье ложечки о чашку слышно, будто чай соседи пили у него на кухне.

Но сегодня Нахимчука спозаранку разбудил не звон посуды, а соседское радио, вдруг разразившееся бодрой песней. «Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом! Лучше работы я вам, сеньоры, не назову... Стану я точно генералом, буду я точно генералом! – во весь голос радовался модный советский певец. Как-то он давал шефский концерт в окружном Доме офицеров. Низкорослый, в туфлях на высоких каблуках, с натянутой, будто приклеенной улыбочкой. Наполеоновский комплекс – на лицо! Такие лилипуты, обычно, и становятся генералами...

Сам Нахимчук генералом стать не хотел. Конечно, курсантом-первокурсником мечтал о счастливой карьере, но быстро усвоил военную присказку про генеральских детей, которым «за ратный труд штаны с лампасами сошьют»... И понял, что простым смертным выше полковника не подняться! Ну, а коли так, то и полковник – чем не мечта? Три больших звезды и два просвета на погонах, папаха, опять же: в зимнее время издали видна... Но помимо внешнего

вида, был у носителя этого высокого звания целый ряд ощутимых материальных преимуществ. Это он позже, будучи уже офицером, уяснил. И в Военторге полковников в особом отделе обслуживали, и к праздникам почти что генеральские продовольственные наборы выдавали, и в окружной поликлинике не только полковники, но и члены полковничьих семей до скончания века состояли на учёте, в отличие от членов семей подполковников, майоров, не говоря уже о младших офицерах. И была ещё одна, незначительная вроде, но Нахимчука просто убивающая деталь: полковники имели право брать в воинских кассах билеты вне очереди, равно, как Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы, генералы и адмиралы! Понятно, что генералы в очереди не стояли — у них для этого порученцы имелись. Героев Советского Союза и кавалеров других высоких наград в таких очередях Нахимчук тоже как-то не встречал. А вот разные полковники выскакивали всегда, как чёртики из табакерки, как раз, когда подходила его очередь. И это обстоятельство его всегда очень нервировало. Нахимчук не раз ловил себя на том, что, ожидая очереди, глядел на отражение своего погона в стекле кассы. Покачнется он, и звёздочки на нём удваиваются, посмотрит под определённым углом и — один просвет становится двумя...

Словом, мечта получить звание полковника со всеми вытекающими отсюда льготами грела Нахимчука долгие годы. Но только — одно дело мечта, и совсем другое — реальность. Служба поначалу складывалась у него неплохо: взвод, рота, начальник штаба батальона — и всё застопорилось на академии. Экзамены в академию он сдал, но не прошёл по конкурсу. Можно было бы выдвинуться иным способом: скажем, послужив в Афганистане. Но туда он не попал по причине перенесённого в детстве гепатита. Так и завис на батальоне. С трудом получил майора. Потом и вовсе отошёл от карьерной магистрали — оказался в организационно-мобилизационном управлении штаба округа, в отделе, курирующем военкоматы. Правда, огорчился этому обстоятельству Нахимчук недолго. Сослуживцы быстро растолковали все преимущества новой службы. Ни тебе прямых подчинённых, с их вечными проблемами и чрезвычайными происшествиями, ни ранних подъёмов и тревог. Спокойная, размеренная работа в тёплом, уютном кабинете, выходящем окнами на центральный проспект областного центра. И квартиру получил Нахимчук в центре, в доме по улице Мамина-Сибиряка, совсем

недалеко от штаба округа. Эта привилегия доставалась тоже в первую очередь офицерам его управления, отвечающего за мобилизационную готовность.

Если же едешь в командировку, встречают тебя в районных и городских военкоматах, не хуже, чем генерала. В Каслях угостят знаменитым местным пирогом из двух десятков сортов рыбы, которая водится в окружающих городок озёрах, с лучком и тонким, пропечённым тестом. Под такой пирог никакая водка с ног не свалит, хоть целый литр в себя залей! Опять же сувениров целый портфель привезёшь — на весь мир известное чугунное литьё... В Златоусте свои прелести — ножи и топоры с гравюрой по амосовской стали... В Тобольске — резьба по кости и северная рыба муксун и стерлядка. В Тагиле — дивные подносы с мастерской росписью. В общем, если дураком не будешь, то и сам не пропадёшь и старшему начальнику подарок привезёшь, что тоже немаловажно для спокойной службы и возможного повышения... И всё бы хорошо было у Нахимчука, только вот желанное повышение никак не случилось. Кое-как, с задержкой стал он подполковником и затормозился на этом аж на целое десятилетие. Уже было смирился Нахимчук с тем, что придётся на пенсию выходить в сорок пять и подполковником. Но тут для таких, как он служак, нашлась лазейка. Кто-то там на самом верху додумался, что негоже простых офицеров, тех, что без академии и не при должности, лишать надежды папаху надеть. И вот в самом начале горбачёвской перестройки появился приказ Министра обороны СССР, разрешающий представлять к званию полковника подполковников проходивших в этом звании не менее двух положенных сроков (то есть, как раз — десять лет) и, конечно, положительно характеризующихся по службе...

Тут уж Нахимчук стал землю носом рыть, только бы в число этих, представленных, угодить. И подарок начальнику отдела на день рождения дорогой преподнёс, и на службе стал задерживаться позже других, чтобы рвение своё показать, и даже бегать стал по утрам, дабы жирок, коим от долгого сидения на стуле изрядно заплыл, растряссти и не опарафиниться на очередной итоговой проверке при сдаче норм военно-спортивного комплекса. Немаловажным фактором в осуществлении задуманного стала и дружба с одним из старших офицеров управления кадров округа — завзятым рыбаком. Сам Нахимчук рыбалку на дух не переваривал, называл её не иначе, как той же пьянкой, только в болотных сапогах. Но тут купил удочку, книгу по

спортивному рыболовству, записался в военно-охотничье общество и напросился поехать вместе с кадровиком на озеро. Стойко перенёс он там и комаров, и подзуживание нового приятеля, когда не смог поймать ни одного карасика, но зато посидели вместе у костерка, выпили, конечно, поговорили... Так раз, другой. Нахимчук старался, не отказывался и червей накопать, и костёр разложить, и за поллитрой в ближнее селпо сбегать... А когда месяца через три отношения стали совсем доверительными, во время очередной попойки у костра выложил кадровику свою заветную мечту...

— Это, Вася, сделать нам легко, — важно сказал кадровик, — как два пальца об асфальт...

И слегка заплетающимся языком тут же изложил, план действий, самым неожиданным из которых оказалось законспектировать все последние доклады Горбачёва, связанные с перестройкой и гласностью.

— А это зачем? — искренне удивился Нахимчук. — Ну, мобилизационные документы, приказы, положения — это понятно, а доклады-то зачем? Я же не политработник...

— Эх, Вася! В том-то и дело, что не политработник! На этом и погоришь!

— Как это погорю? — не на шутку испугался Нахимчук.

— А вот так... — кадровик приблизил к нему покрасневшее от выпитого лицо. — Ты же знаешь, что всех представленных к званию полковника пропускают через Военный совет округа. Так, вот там тебя и рубанут!

— Кто рубанёт!

— Ясно кто — «Факел перестройки».

«Факелом перестройки» прозвали рыжего генерал-майора, недавно прибывшего из Куйбышева на должность начальника политуправления округа.

— Этот «Факел», на последнем Совете, трёх претендентов зарубил за то, что Генсека процитировать не смогли. Уяснил? — спросил кадровик.

Нахимчук кивнул. И дело закрутилось.

— ...Буду я точно генералом, стану я точно генералом... — надрывалось соседское радио, возвращая Нахимчука к событиям вчерашнего дня, когда на экстренном собрании офицеров начальник управления зачитал приказ о присвоении ему звания полковника, вручил заветные погоны и папаху. Какое это было мгновение!

Конечно, через своего друга — кадровика он уже заранее знал о пресловутом приказе, и даже новый китель с полковничьими погонами в окружном ателье заказал, и к

парадной шинели погоны сам лично пришил, исколов иголкой все пальцы... Да, что там погоны! Он и отпуск себе подгадал к этому дню, и путёвку в военный санаторий — опять же, по благу — раздобыл. И в какой санаторий! В Архангельское! Туда офицеров, ниже полковника, просто не пускают. А летом там — одни москвичи.

«Ничего, — думал Нахимчук, — нам и февраль сойдёт. Зато, какие перспективы этот отдых может предоставить... Скажем, окажется соседом по обеденному столу какой-нибудь большой человек из Минобороны... И я ему понравлюсь. Уж я постараюсь это сделать! И тогда...»

Нахимчук нашарил ногами тапки, поднялся, с хрустом потянулся и, с удовольствием глянув на своё отражение в трюмо, шёпотом, чтобы не разбудить мирно спящую жену поздоровался: «Здравия желаю, товарищ полковник!» На него взирал сразу из трёх зеркал толстый, волосатый мужик в майке и семейных трусах до колен. Он долго и старательно разглядывал своё широкое лицо, точно видел впервые. Крупный нос с ложбинкой посредине, большие, навывкат серые глаза, залысины на лбу... Жёсткая линия рта. Словом — настоящий полковник. А полковник, он и в Африке — полковник. Сам не замечая того, Нахимчук всё бормотал прицепившуюся фразочку: «Буду я точно генералом, буду я точно...» Он подобрал живот, одобрительно улыбнулся своему отражению и пошлёпал в туалет, на ходу смакуя, что предстоит сделать в первый день отпуска. Сегодня он без очереди купит билет на самолёт. Нахимчук специально не покупал его заранее, будучи подполковником, чтобы нынче насладиться открывшейся возможностью...

Он неспеша побрился. Так же со значением выпил чай, который подали, проснувшись, наконец, жена, такая же толстая и неуклюжая, как сам Нахимчук. Но и она, надоевшая за четверть века совместного быта, в это утро не вызывала в нём обычного раздражения своим растрёпанным, заспанным видом. И обыденный «Индийский чай» Рязанской чаеразвесочной фабрики показался ему необыкновенно вкусным.

Новый китель сидел на нём, как влитой.

— Ой, Вася, какой ты... — счастливо всплеснула руками жена и почему-то прослезилась.

— Полно, полно, Зина! Чего сырость развела? Помогите лучше шинель надеть, — Нахимчук оттопырил назад короткие руки, отчего стал похож на фронтовой бомбардировщик «Миг-15». Такие самолёты были на вооружении в тот год, когда он поступал в авиационное

училище. Поступал да не поступил: подвёл вестибулярный аппарат. Но в военных училищах страны тогда был недобор, и абитуриентам, кто не прошёл в лётное по физическим данным, предложили на выбор другие училища. Нахимчук выбрал общевоинское командное... И не прогадал! Вот, стал полковником...

Он вышел на крыльцо, остановился, взглядываясь в серый небосвод, с которого сыпался мелкий, колючий снежок. Ветер, дующий со стороны Уралмаша, доносил запахи заводских труб и окрестных кочегарок и всё норовил залезть холодной пятернёй за отворот шинели. Но и это обстоятельство ничуть не расстроило Нахимчука. Напротив, и небо ему казалось не таким низким, и ветер вовсе не пронизывающим. Он с минуту потоптался на крыльце, раздумывая, какой дорогой направиться к кассам предварительной продажи билетов, что располагались на улице Свердлова. Пройти можно было двумя путями: срезав расстояние, через Харитоновский парк, и более длинным путём — через Вознесенскую горку.

Нахимчук пошёл там, где многолюдней. Так хотелось ему покрасоваться в новой серой папаше, делающей его выше и стройнее.

Как назло в этот утренний час прохожих было немного. Да и те, что попадались навстречу, не обращали на Нахимчука никакого внимания, кутались в шарфы, закрывали носы воротниками однотипных пальто, спешили по своим делам. Впрочем, и это обстоятельство не поколебало его доброго настроения.

Нахимчук, тяжело и широко ставя ноги, поскрипывая снежной крупкой, дал кругалю и вышел на набережную Исети. Его взору открылись серые невыразительные дома на противоположном берегу. И только высотное здание обкома партии настырно лезло в глаза. «Белым клыком» окрестили свердловчане детище первого секретаря обкома Ельцина, недавно переведённого в Москву... А по эту сторону реки — старые полуразрушенные бараки да пустырь на месте дома Ипатьева, за ночь уничтоженного молодым и энергичным свердловским вождём. Говорят, Ельцин лично руководил этими работами. Он ведь — строитель по образованию. Наверное, за исполнительность и партийную непреклонность и пошёл на повышение.

«А, что, может и у меня ещё всё сложится удачно... Возьмут да переведут в Москву, в мобилизационное управление Министерства обороны... Для полковника-то я ещё совсем не старый... К тому же с опытом работы и старанием... А там,

в Москве, и до генерала — рукой подать!» — счастливо размечтался Нахимчук.

Он пришёл в кассы, предчувствуя долгожданный триумф, как подойдёт к окошечку и, раздвигая толпу, возьмёт свой билет вне очереди.

К разочарованию Нахимчука очереди-то возле воинских касс в это утро не было. Стояли всего три человека: лейтенант с эмблемами танкиста, какой-то старичок-отставник и женщина средних лет, очевидно, жена или мать военнослужащего. В общем-то, можно было бы встать за ними.

Но Нахимчук с осознанием своей правоты бесцеремонно подошёл к окошечку, отстраняя лейтенанта, подал кассиру проездные документы:

— На утренний самолёт до Москвы, будьте любезны... — как бы устало сказал он.

Пока кассир звонила в аэропорт, Нахимчук снисходительно оглядел стоящих. Лейтенант совсем зелёный — шинель ещё не износилась. А старичок, видать, воевал... Составить мнение о женщине Нахимчук не успел — кассирша доложила с почтением в голосе:

— Повезло вам, товарищ полковник, последний билет на рейс достался... Оформляем?

Нахимчук кивнул.

— Девушка, скажите, больше билетов совсем нет? — спросил лейтенант.

— Я же русским языком сказала, это последний, — отрезала кассир.

— Товарищ полковник, вы не уступили бы мне билет? — обратился лейтенант к Нахимчуку. — Я по телеграмме, у меня мама при смерти...

Нахимчук, хотя едва доходил лейтенанту до плеча, посмотрел на него сверху вниз:

— По служебной надобности, лейтенант!

Лейтенант ничего не сказал.

Оформление билета Нахимчука прошло в гробовой тишине. Отходя от кассы, он обернулся, желая подбодрить лейтенанта, мол, улетишь следующим рейсом.

Старичок, тем временем расстегнул полушубок. Намётанным глазом Нахимчук сразу приметил на пиджаке планки трёх орденов Славы и вышел на улицу.

«Надо было всё же подсказать лейтенанту, чтобы обратился к военному коменданту в Кольцово. Тот, в экстренных случаях подсаживает военнослужащих на ближайший борт... — запоздало спохватился он. — Ещё и

этот старик, полный кавалер... Тоже мог ведь без очереди... Да что уж теперь...»

— Ничего, мне положено, — пробормотал он себе под нос и пошёл домой собирать чемодан. Но только к вечеру, когда в гости нагрянули родственники жены, чтобы поздравить Нахимчука с получением долгожданного звания, неприятный осадок от похода за билетами понемногу развеялся.

На следующее утро об этом инциденте Нахимчук уже не вспоминал.

...А ещё через день газета «Известия», которую полковник уже много лет выписывал по разнарядке, опубликовала сообщение, что самолёт рейсом «Кольцово — Домодедово» разбился при заходе на посадку в московском аэропорту. В списке погибших пассажиров значилась и фамилия Нахимчука.

## ТЕАТРАЛ

Капитан Упоров не любил театр. Сначала ему, правда, казалось, что он театр не «не любит, а любит». Так написал один знаменитый писатель. Но писатель так написал про своё. А Упорову так казалось совсем про другое.

Когда он первый раз был женат, женат на Тамаре, казалось ему, что театр он любит. Он даже выстаивал очередь, чтобы купить билеты на премьеру в местную музыкальную комедию. И со службы отпрашивался пораньше, чтобы успеть к началу спектакля. И в едином порыве с супругой и со всем залом, Упоров кричал «Браво!» и до боли в ладонях аплодировал чете местных звёзд — артистов Жердевых, лихо выплясывающих канкан. И после развода с Тамарой, он какое-то время ещё посещал театр. Но всё реже и реже...

По-настоящему же Упоров понял, что театр он не любит, опять же, как написал знаменитый писатель, когда «уехал и жил у моря». Ну, «жил у моря» — это громко сказано. Упоров с немалым трудом раздобыл турпутёвку по маршруту: Терскол — Сухуми. Почему-то именно так устроены военные туристические маршруты: десять дней ты живёшь в горах, три дня топаешь в Сванетию, а потом — всего неделя у моря. Как будто нельзя офицеру сразу к морю приехать и спокойно три недельки пожариться на песке, поплескаться в солёной водице, завести какой-нибудь курортный романчик...

Но Главное туристическое управление Минобороны



посчитало: военнослужащий и на отдыхе остаётся военнослужащим. И положения устава для него никто не отменял. Значит, он должен и в отпуске преодолевать тяготы и невзгоды: сперва до одури полазять по горам, совершить переход через заснеженный перевал Донгуз-орун, сорок километров пройди с тяжеленным рюкзаком до Южного приюта, и только тогда, на ПАЗике отправиться к ласковому морю.

«Зачем все эти трудности? — недоумевал Упоров. — Может быть, таким манером большие начальники решили подтянуть горную выучку офицерского состава? Как никак пять лет война в Афгане идёт...»

Да и на кой ляд, пропагандисту авиационного полка эта подготовка сдалась? Упоров ехал на юг расслабиться и забыться после скандального развода с загулявшей женой. Ехал с тайной надеждой отдохнуть от всей сопровождающей подобные мероприятия нервогрёпки, раны сердца залечить. Короче говоря, познакомиться с какой-нибудь отдыхающей красоткой, не очень целомудренной и сговорчивой.

В Терсколе осуществить мечту о курортном романе ему не удалось. Все дамы в его туристической группе оказались с мужьями, а две одиноких туристки по возрасту Упорову в матери годились и никаких эротических фантазий не вызывали. Оставалось одно — вместе с соседом по комнате Володей заливать одиночество местным вином, пусть и не лучшего качества, но поставлявшегося окрестными жителями на турбазу в достаточном количестве.

Володя, огромный и мрачного вида мужик, чем-то похожий на Снежного человека, оказался собутыльником «приятным во всех отношениях», как написал бы об этом другой знаменитый писатель. То есть сам пил много и даже безудержно, но товарищу свою норму не навязывал, в душу с расспросами не лез, да и о себе почти ничего рассказывал. Упоров смог выяснить только, что он — подполковник, авиационный инженер, разведён, и тоже приехал развеяться. И хотя слово «развеяться» Володя понимал по-своему, они подружились. Во время перехода по горам шли рядом. И в Сухуми, поселились снова в одном номере.

Сухуми ни в какое сравнение с Терсколом не шёл. Море, пальмы, пляж. Тут-то голова у Упорова и пошла кругом: куда не повернись, сами «лезут в глаза, тычутся», как сказал бы знаменитый писатель, красотки разных мастей: блондинки, шатенки, брюнетки, загорелые и молочной белизны, полненькие и худосочные, ладные и не очень... А одна шоколадная девица в бикини удивила тем, что на задней,

аппетитной части её фигуры чертяга наколоты. Фланирует она по песку, туда-сюда, свои шары, притягивающие взор, перекачивает, а рогатые в топку лопатами уголь подбрасывают... Тут и самый идейно-стойкий пропагандист все заповеди морального кодекса строителя коммунизма забудет! Но сколько очами голодными Упоров пляжных красавиц ни поедал, знакомство ни с одной из них не складывалось. Все девицы, которые ему нравились, держались так высокомерно, что и подойти к ним страшно, а к тем, которые не по вкусу, зачем подходить?

Вот и приходилось ему забываться и расслабляться больше по Володиному принципу. С утра они парой, «как шерочка с машерочкой», как мог бы написать, но, кажется, не написал знаменитый писатель, уходили с турбазы, расположенной в дальней, предгорной части города, медленно двигались в сторону моря, то и дело останавливаясь у бочек, которые в средней полосе обычно предназначаются для кваса, а здесь приспособлены под абхазское вино. Выпивали по кружечке и шлепали к следующей бочке. Ещё кружечка и снова вперёд. Так, за час-полтора добирались до пляжа, раскидывали полотенца и занимали наблюдательную позицию. Упоров бежал окунуться, а Володя, полежав минут десять, удалялся к ближайшей бочке, где и проводил большую часть времени, отводимого для морских процедур. Так и коротали день за днём.

Однажды на пляже, оглядывая окрестности, Упоров приметил одинокого, молодого мужчину, по годам, может быть ровесника ему, может быть, чуть младше. Незнакомец невольно притягивал к себе взгляд. Сложен, как Аполлон Бельведерский, загорелый, белокурый красавец с голубыми глазами. Он принимал солнечные процедуры, выбирая эффектные, можно сказать, театральные позы, явно демонстрируя свой атлетический торс и броскую внешность. Это позёрство не понравилось Упорову. Он отвернулся и стал глядеть на воду, где плескались местные и приезжие наяды. И вскоре позабыл про Апполона.

— Извините, — раздался за спиной приятный баритон. Упоров обернулся. Перед ним стоял тот самый Аполлон и с видимым дружелюбием разглядывал его.

— Извините, — вкрадчиво повторил он, — я вижу, вы тоже один и тоже скучаете.

Володя как раз отошёл к винной бочке и возвращаться пока не собирался.

— Да не то, чтобы скучаю... Загораю...

— А вы любите театр? — неожиданно спросил

незнакомец.

– Люблю. А что? – оторопел Упоров.

Собеседник широко улыбнулся:

– Ой, простите великодушно. Забыл представиться. Меня зовут Эдуард. Я – помощник режиссёра Львовского театра Советской Армии. Мы тут на гастролях. А вы, как я понял, тоже к армии имеете какое-то отношение...

– Как вы догадались? – растерялся Упоров.

Эдуард рассмеялся, обнажив ровные, ослепительно белые зубы, как сказал бы, если бы хватило фантазии, знаменитый писатель, «такие же белые, как снег на перевале»:

– Ну, это совсем нетрудно. Причёска, манеры... Потом, этот офицерский загар – кисти рук и шея. Такой загар бывает только у зэков и у офицеров. На заключённого вы совсем не похожи. Значит – офицер. Я ведь угадал?

Упоров кивнул.

– Но вы не сказали, как вас зовут...

– Василий, – представился Упоров.

– Какое замечательное у вас имя, Василий.

– Главное – редкое, – пробурчал Упоров, но обаяние Эдуарда обезоруживало.

Эдуард всё с тою же вкрадчивостью в голосе сказал:

– Собственно, я хотел пригласить вас, Василий, на спектакль нашего театра.

– Когда?

– Сегодня вечером. У нас идёт водевиль «Сватовство гусара». Вещица лёгкая, развлекающая.

– Водевиль – это хорошо... На водевиль, пожалуй, приду. Только не один, с товарищем.

Эдуард обрадовался:

– Конечно, приходите с вашим другом. Я буду ждать вас у служебного входа в театр в половине седьмого.

– А с актрисами познакомите? – неожиданно для себя самого выложил Упоров давнюю мечту завязать близкое знакомство с какой-нибудь служительницей Мельпомены.

Эдуард, окинув его понимающим взглядом, заверил:

– Конечно, конечно. После спектакля посидим, выпьем вина. Пригласим наших девушек. Они у нас просто загляденье. Так придёте?

– Придём.

Эдуард крепко пожал Упорову руку и, сославшись на репетицию, собрал свои пожитки и покинул пляж.

Упоров почесал затылок и пришёл к выводу, что неожиданное приглашение, сулящее, возможно, любовные приключения, в общем-то, приемлемо и внесёт хоть какое-

то разнообразие в похожие один на другой дни пребывания у моря. Оставалось только уговорить Володю.

Тот долго сопротивлялся:

— Чё я не видал в этом театре?

— С актрисами познакомимся... С настоящими...

— Да, на кой они мне... — отнекивался Володя. — К тому же ты знаешь, на турбазе режим. Не успеем со спектакля вернуться, корпус закроют, будем на улице куковать!

Упоров заверил:

— Не бойся, успеем, — и подмигнул: — А буфет, знаешь, в театре какой? И коньяк, и бутерброды с икрой! К тому же, этот Эдик обещал «полян» после спектакля накрыть...

Володя согласился.

Эдуард встретил их у служебного входа, проводил в директорскую ложу и, попросив задержаться после спектакля, удалился.

Водевиль оказался и вправду лёгким и непринуждённым. Молодые актрисы, порхали по сцене, как бабочки. Все они были милы, ярко загримированы, в нарядных платьях прошлого века. Упоров старался угадать, кого именно приведёт Эдуард. В перерыве посетили буфет, приняли на грудь по сто граммов коньяку. И второе действие пролетело ещё стремительней.

После спектакля, Эдуард влетел в ложу и, с порога, рассеивая все сомнения Володи в серьёзности его обещания «накрыть поляну», вдохновенно пригласил:

— А теперь ко мне, друзья! Гостиница буквально в двух шагах от театра...

— А как же актрисы? — напомнил Упоров.

Эдуард улыбнулся:

— Актрисы придут позднее. Им же надо снять грим и переодеться.

В номере у Эдуарда был щедро накрыт стол. Две бутылки самого дорогого армянского коньяка, шпроты, бутерброды с ветчиной и копчёной колбасой, ваза с краснобокими яблоками и чёрным виноградом. Володя заметно повеселел, да и у самого Упорова глаза от таких дефицитных яств заблестели.

Эдуард жестом хлебосольного хозяина пригласил к столу. Выпили по одной, по второй, по третьей. И Эдуард вдруг заговорил по-немецки:

— Es blasen die blauen Husaren...

У Володи и Упорова вытянулись лица.

Эдуард, раскрасневшийся от выпитого, пояснил:

— Это Гейне. «Трубят голубые гусары, Верхом из ворот

выходя...», — и обратился к Уповору: — Вы любите Гейне, Василий?

— Актрисы-то когда придут? — вопросом на вопрос отозвался Уповор.

— Скоро уже...

Они выпили снова. Открыли вторую бутылку. Эдуард ещё порывался что-то читать из Гейне. Да так напыщенно и театралью, что Володя вышел в коридор покурить.

— Где же актрисы? — поглядев на часы, стрелки которых показывали, что до закрытия корпуса им не успеть, тревожно спросил Уповор.

Эдуард странно посмотрел на него и мягким, вкрадчивым голосом произнёс:

— Какой у вас красивый профиль, Василий. Просто, как у римского кесаря...

Уповор недоумённо вытаращился на него, и, как сказал бы знаменитый писатель, «по-бычьи ворохая глазами»:

— В чём загвоздка, Эдуард? Актрисы не придут?!

Эдуард протянул руку через стол и положил её на руку Уповора:

— А зачем нам актрисы, Вася?

— Как зачем? — вскинулся Уповор. — Ты же обещал!

Эдуард заговорил быстро и вкрадчиво, глядя прямо в глаза Уповора:

— Зачем нам актрисы, Вася... Оставайся со мной.

— А Володю куда? — не понял Уповор.

— Володя пойдёт на турбазу.

— А я как же?

— А ты останешься... Останешься и испытаешь такое, что тебе и не снилось. Никакие актрисы этого дать не смогут. А я дам. На всю жизнь запомнишь...

Уповор, конечно, знал по рассказам людей бывалых, что существуют такие мужчины, которые любят мужчин. Но сам никогда с ними не сталкивался. Он мгновенно вспотел. Резко выдернул руку из-под горячей руки Эдуарда. Вскочил и сделал шаг назад, роняя стул, на котором сидел. Вслед за ним вскочил и Эдуард.

В этот момент в номер вошёл Володя.

Уповор возопил:

— Вова, он же «голубой»!

— Чё! Кто «голубой»? — не понял Володя.

— Да, этот вот! — Уповор ткнул пальцем в Эдуарда.

Володя рывкнул, как медведь:

— Щас мы его на свастику рвать будем! — и двинулся всей своей могучей тушей.

Эдуард проявил неожиданную ловкость. Опрокинув Володин стул, он метнулся на балкон, закрыл за собой дверь и втолкнул в ручку швабру, очевидно, припасённую для подобного развития событий.

Упоров, обгоняя Володю, рванул на себя дверь — она была закупорена наглухо. Он ударил по раме так, что затрепетали стекла. И тут Эдуард, свесившись с балкона вниз, заверещал:

— Милиция! Помогите, убивают, грабят!

Володя схватил стул, замахнулся, чтобы ударить по стеклу. Упоров, к которому вернулось здравомыслие, остановил:

— Уходим! Сейчас такой кипеж поднимется, не отмоемся потом...

Они быстро вышли из номера, захватив с собой в качестве трофея недопитый коньяк. Бегом спустились в вестибюль, мимо полусонного швейцара выскользнули на улицу и припустили в сторону турбазы.

— Жалко, что мы ему рожу не начистили! — на ходу комментировал ситуацию Упоров.

— Да ему не рожу, а сиделище начистить надо! — потряс огромным кулаком Володя.

Они на ходу допили коньяк:

— Эх, театрал, ядрить ты в корень... — нудил Володя, — придётся ночевать на лавке. По корпусу-то дежурит Харибда...

Харибдой отдыхающие прозвали немолодую, вечно раздражённую и озлобленную на весь белый свет тётку, взявшую на турбазе на себя роль «полиции нравов»: никого после одиннадцати она в корпус не пускала, даже по приказу дежурного. В каждом опоздавшем мужчине видела злостного нарушителя семейных ценностей, в каждой задержавшейся женщине непременно — гулёну и вертихвостку.

— Отправляйтесь туда, откуда пришли! Нарушать режим тут никому не дозволено! Это вам не проходной двор, а военное учреждение! — голосом прокурора Вышинского вещала она опоздавшим из-за закрытых дверей. Спорить с ней и что-то доказывать было бесполезно.

Прогноз Володи сбился на все сто. Эту ночь он и Упоров коротали на скамейке перед корпусом. Благо августовские ночи в Сухуми тёплые.

Слушая неумолчный стрёкот цикад, вдыхая терпкий аромат цветов, Володя сердито бубнил, глыбами вываливая слова:

— Завтра всё равно этого Эдика подловим и нюх ему натрём! Как токо посмел, сволочонок, такое советскому офицеру предложить?

— Как мы его сразу не раскусили? Всё про голубых гусаров читал... — соглашался Упоров. — Тоже мне, нашёлся поклонник Гейне... Кто его только в театр Советской Армии устроил? Надо в ГлавПУр написать!

— Не, давай без ГлавПУра. Поймаем гада и нос в губу вколотим, чтобы никого не соблазнял...

— Скажешь тоже, будто он меня соблазнил! — обиделся Упоров.

— Да ты чё? Я не о тебе... Ты у нас — мужик! А этот, ещё пожалеет, что с нами связался...

Наутро двери корпуса открыли, и они завалились спать. Проспали до обеда. А когда пришли к театру, оказалось, что Львовские артисты уже уехали. И «голубой гусар» вместе с ними...

С той поры и понял Упоров, что театр он не любит.

Однако лет через десять после этого случая он, неожиданно для себя самого, женился на актрисе. Знаменитый писатель сочинил бы, что актриса эта из того самого Львовского театра Советской Армии, и играла в том самом водевиле, который посмотрел Упоров по приглашению поклонника Гейне.

Но уже не было ни Советской Армии, ни её Львовского театра. Да и сама Украина стала «незалежной», то есть независимой. И Инга — так звали новую жену Упорова — служила в небольшом драмтеатре в сибирском провинциальном городке.

Незадолго до свадьбы, в доверительном разговоре Упоров рассказал ей историю своего знакомства с помощником режиссёра. Инга тут же призналась, что таких «неформалов», и у них в театре предостаточно. Упоров расхохотался, но вопрос поставил ребром: или семья, или этот вертеп. Именно так он с некоторых пор и называл театры.

Инга оказалась девушкой рассудительной и ответила ему так, что и знаменитый писатель безо всякого сомнения назвал бы её изящной и мерцающей...

## СНЕГОПАД

Снег шёл несколько суток. Неправдоподобно большими влажными хлопьями он облепил Каменноостровский дворец, раскидистые вязы и дорожки парка, горбатый мост через чёрную незамерзающую Малую Невку. В этом снегу даже сбившиеся в стаю и тихо плывущие по течению дикие утки походили на плавающий белый остров.

Дворец был заложен Екатериной Великой для сына Павла, ещё в бытность его цесаревичем. Как известно, отношения Павла с матерью были не самыми безоблачными, и он не прожил во дворце ни дня. А вот внук великой императрицы император Александр сделал этот дворец своей любимой резиденцией. Именно здесь заседал «негласный кабинет» в начальные годы его правления, здесь император встречался с князем Михаилом Илларионовичем Кутузовым в день назначения того командующим русской армией в восемьсот двенадцатом году. Чуть позже во дворце неоднократно бывал Пушкин, а в пятидесятых годах девятнадцатого века жил композитор Рубинштейн...

После революции дворцовый комплекс несколько раз переходил из ведомства в ведомство, пока в нём, наконец, не обосновался Ленинградский санаторий Военно-воздушных сил.

Некипелов смотрел из окна дворца на белое крошево. Настроение было подстать погоде — меланхолическое. Снегопад и слякоть нарушили его планы совершить пешую прогулку на Чёрную речку к месту дуэли Пушкина. В центр же города не хотелось. Там можно, конечно, было бы забраться в какую-нибудь пивнушку и пить подогретое пиво из стеклянных кружек с отколотыми краями. Прежде горячего пива Некипелов никогда не пивал, а потому быстро оценил ленинградское ноу-хау и даже пристрастился к такому пивку. Но сегодня не хотелось ни пива, ни ресторанов, ни глядеть на «пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков...»

Оставалось одно: приняв утренние процедуры, слоняться по дворцу из угла в угол, то и дело, натываясь взглядом на таблички, развешанные по стенам: «Памятник архитектуры. Охраняется государством. Руками не трогать...»

Сказать откровенно, более неудачного места для устройства лечебного учреждения было трудно придумать. Поскольку дворец всё время числился памятником союзного значения, перепланировка его помещений была строго запрещена. Даже гвоздя в стену не вобьёшь, без соответствующего разрешения надзорных органов. Поэтому физиокабинет и душевые комнаты располагались в одном из дворцовых флигелей, в другом — находилась столовая. Грязеводолечебница была оборудована в помещении бывшего музыкального салона, а кабинет массажа — в императорском кабинете. Аванзал с фрескам, исполненными знаменитыми Бренной и Лабенским по гравюрам Пиранези, превратили в помещение для танцев, которые два раза в



месяц устраивал для отдыхающих замполит санатория. В Зеркальном зале поместилась Ленинская комната. Двухместные палаты на втором этаже, они же бывшие помещения прислуги, достались полковникам, генералам и членам их семей. Старших офицеров, прибывших без жён, расположили по четверо в двух парадных гостиных и в бывших личных покоях великокняжеской четы. Под палаты для младших офицеров выделили Малиновую гостиную и Картинный зал, расположенные на первом этаже. Каждая палата по двадцать койкомест.

Некипелов обитал в Картинном зале. Зал был высокий, полукруглый, со стрельчатыми окнами почти до самого пола. О его прежнем названии свидетельствовали только табличка да старинные гвозди, вбитые под потолком для подвешивания картин.

Соседом Некипелова по палате оказался ровесник, старший лейтенант Виктор Литвяк, чернявый, кривоногий и низкорослый, но заводной и с чувством юмора вертолётчик из Троицка.

— Ты думаешь, меня сюда лечиться направили? — в первую же минуту спросил он Некипелова и загоготал: — Я, Саня, здесь в ссылке, как Пушкин в Михайловском.

Некипелов искренне удивился:

— Тебя что ли сюда за вольнодумство сослали?

Литвяк снова загоготал:

— В какой-то степени и за вольнодумство. А вообще-то Александр Сергеич поплатился за свою любвеобильность. Он же, будучи в Крыму, клинья к жене царского наместника графа Воронцова подбивал. Вот граф и расстарался, чтобы молодого соперника удалить...

— Ну, а ты, к какой графине клинья подбивал? — иронично спросил Некипелов.

Литвяк самодовольно хмыкнул:

— Много их всяких было... А тут, как-то враз рогатые мужья на меня пожаловались и в политотдел, и комполка. Вот командование и приняло мудрое решение — отправить меня в санаторий на месяц, пока страсти в гарнизоне не улягутся...

— Да, ты, прямо гигант...

— Гигант не гигант, а бабы довольны... — со значением сказал Литвяк и полюбопытствовал: — А ты как здесь очутился среди зимы?

— Смешно рассказывать, — отмахнулся Некипелов.

В санаторий он попал, действительно, по нелепой случайности. У него, много лет серьёзно занимавшегося

спортом, никогда не жаловавшегося на здоровье, вдруг забарахлило сердце. Осенью его перевели в Свердловск на должность замполита роты охраны штаба ВВС округа. Пришлось проставляться по старому месту службы и представляться по новому. А тут ещё сына надо в детский сад устраивать. Чтобы не стоять в многолетней очереди, новые коллеги подвели его к знакомой директрисе детского сада. Она, окинула Некипелова оценивающим взглядом:

– Ребёнка вашего приму, но с вас потребуется трудовой вклад в обустройство нашего детского учреждения: сделайте кирпичную кладку в одном из подсобных помещений. Оштукатурьте, покрасьте. Справитесь?

– Сделаем, – заверил Некипелов.

В ближайший выходной, взяв на помощь солдата из своей роты, он принялся за работу. Работали ударно, как комсомольцы у Николая Островского на Буерке. За день сделали то, на что бригаде каменщиков и маляров потребовалось бы дня три.

Вечером, с устатку, намахнул стопку и свалился со стула, потеряв сознание. Штабной врач поставил диагноз – нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу и настоял, чтобы в очередной отпуск, который вопреки присказке «солнце светит и палит, в отпуск едет замполит» пришёлся на февраль, Некипелов поехал в санаторий.

...Снег за окном всё шёл и шёл, не переставая, совсем, как в модной песне: «А снег кружил и падал, а снег кружил и падал...» Эту песню многократно, до отупения, горланили в фирменном ресторане «Кавказский», что расположен на Невском, неподалёку от Гостиного двора. В этот ресторан Некипелова несколько раз зазывал Литвяк, всё пытающийся найти себе пассию.

Подражая выходцам с кавказских гор он гнусавил:

– Паньмаэш, дарагой, я биз девочка адын ден магу. Дыругой ден магу. А болше не магу... Очын девочка хачу!

Но ленинградки оказались такие недоступные, что у известного сердцееда ничего не получалось. А Некипелов даже и не пробовал. Не хотелось, да и жену он любил.

Но Литвяк не унывал. Он повторял попытки «закадрить» кого-нибудь ежедневно. Вот и сегодня, не взирая на снегопад, вышел на охоту, предупредив, что к ужину вернётся.

К ужину он не вернулся. Не пришёл и к отбою, когда двери санатория наглухо закрылись.

«Значит, нашёл то, что искал», – успокоил себя Некипелов, укладываясь в кровать у окна. Сам он весь остаток дня провёл с романом Дюма «Королева Марго» и теперь

хотел поскорее заснуть, пока не заработала местная «артиллерия» — два сорокапятилетних капитана-храпуна у противоположной стены. Засыпая, ещё успел тихо порадоваться, что опередил соседский храп.

Его разбудил громкий, отрывистый стук в окно. Он не сразу открыл глаза, трудно соображая, что происходит. Стук повторился. Некипелов, наконец, проснулся. Первым делом глянул на часы со светящимися стрелками. Была половина третьего. За окном, в снежной круговерти, маячил человек. Некипелов подошёл к окну и узнал Литвяка. Тот стоял по пояс в сугробе и жестами просил отворить окно.

«Как я тебе отворю? Всё на зиму заклеено... Шатаешься тут по ночам!» — разозлился Некипелов, но с трудом дотянулся до верхней задвижки и, обрывая полосы утеплителя, распахнул окно.

В палату ворвался снежный вихрь и холод, заставившие Некипелова отпрянуть в сторону. В окно, вместо Литвяка, неуклюже влезла незнакомая женщина.

Она зябко повела плечами, встряхнулась, как собака, вышедшая из воды, осыпав Некипелова и его кровать снегом. От женщины пахло сыростью, вином и сигаретами. Она косо взглянула на скукожившегося Некипелова и так мерзко хихикнула, что ему захотелось тут же вытолкнуть её обратно. Следом в окно влез Литвяк. Он так же бесцеремонно отряхнул снег на некипеловскую кровать.

Некипелов зло прошипел:

— Ты с ума сошёл, Витька! Куда её приволок?

— А куда нам идти, Саня?.. — возмутился Литвяк. — Люсинда, понимаешь, живёт в коммуналке, с матерью и сестрой.

— Дэ-а, с матерью и с с-сестрой, — поддакнула Люсинда, стягивая с себя искусственную шубу а-ля леопард и развешивая её сушить на спинку некипеловской кровати.

— Тихо, ты! Людей разбудишь! — Некипелов возмущённо перебростил шубу на кровать Литвяка.

Литвяк успокоил его:

— Не бойсь, Санька! Мы — тихонечко... Счас ляжем, вздремнём чуток. А утречком, как рассветёт, я её фюить... — он сделал рукой жест в направлении окна.

— Как знаешь! — сказал Некипелов и забрался под одеяло. Но поспать больше не получилось.

Сначала у него за спиной раздался громкий шелест сбрасываемых одежд и дважды коротко скрипнула кровать. Потом Литвяк и Люсинда на какое-то время притихли, очевидно, согреваясь. Затем кровать заскрипела снова, на

этот раз с определённым ритмом. К скрипу кровати добавились вздохи и стоны...

– Тише ты, тише, не ори! – урезонивал Литвяк, но Люсинда была безудержна.

Соседи заворочались, перестали храпеть, но какое-то время молчали.

– Когда прекратится это безобразие? – наконец, возопил из дальнего угла старший из капитанов.

– Совсем стыд потеряли! – поддакнул ему сосед.

Литвяк и Люсинда на время притихли. И только палата успокоилась, снова заскрипела кровать, застонала Люсинда, завозмущались капитаны.

И так до самого подъёма.

Едва за окнами забрезжило, Литвяк стал выпроваживать Люсинду. Она упиралась:

– А п-проводить, даму!

– Нет, уж, голубушка, сама, сама... – Литвяк с трудом вытолкнул её в окно и закрыл его на нижнюю задвижку.

Люсинда ещё какое-то время поскреблась в стекло. Но тут зажётся свет, офицеры сгрудились у окна, разглядывая её. Она засмущалась и побрела по сугробам прочь.

Мнения обитателей палаты о ночном происшествии разделились. Старшие по возрасту возмущались и обещали пожаловаться санаторному начальству, младшие, за исключением Некипелова, одобрительно похлопывали Литвяка по плечу и завистливо спрашивали:

– Ну, как?

Литвяк снисходительно улыбался, но от комментариев воздерживался.

Последствия не заставили себя ждать.

Через пару дней герой-любовник как-то сник, перестал улыбаться и хорохориться.

– Что с тобой, Витёк? – поинтересовался Некипелов. – Неужели опять бабу охота? Так Люсинду позови... Небось, адресок-то оставила?

Литвяк зло выругался:

– Да пошла она...

– Вот те раз! С чего вдруг такие перемены?

– Наградила. Насморком...

– Каким насморком? – не сразу понял Некипелов.

– Тем самым, – Литвяк выразительно опустил глаза и перешёл на свистящий шёпот. – Теперь амбец!

Некипелов попытался утешить:

– Да ладно ты, какой амбец. Лечится этот твой «насморк». Иди к венерологу.

— Вот-вот. Иди. А ты знаешь, что о каждом таком случае по месту службы сообщают...

— Тебе-то что? Ты же холостяк.

Литвяк погрузился ещё больше.

— У меня кандидатский стаж через месяц заканчивается. Придёт в часть «телега», припомнят ещё прошлые «заслуги» и всё — прощай КПСС! А что это такое, сам знаешь...

Некипелов кивнул:

— Да, Витя, положеньице не позавидуешь...

Литвяк взмолился:

— Саня, как друга тебя прошу, выручай! Ты же политработник, придумай что-нибудь!

— А что я могу? Я же не врач! — Некипелов развёл руками.

Однако, бросать приятеля в беде было нельзя. Некипелов остаток дня думал, думал и придумал, как можно попытаться спасти Литвяка.

— «Насморк» — это болезнь, — сказал он ему. — А болезнь лечат лекарствами. Лекарства продают, где? В аптеках. Значит, надо пройтись по аптекам и купить его.

— Ага, кто тебе даст антибиотики без рецепта? — мрачно усомнился Литвяк.

Некипелов жестом фокусника вытащил из кармана двадцатипятирублёвую купюру:

— А кто тебе сказал, что у нас его нет? Такие «рецепты» ещё ни один Минздрав не отменял...

Литвяк восхитился:

— Здорово, Саня! Как ты до этого додумался? Если выгорит, с меня — поляна...

— Ну, не без этого...

Им повезло не сразу. В двух десятках аптек аптекарши и слушать ничего не хотели, мол, без рецепта лечащего врача — ни-ни. А то от самолечения ещё последствия будут опасные для организма, можно навсегда бездетным остаться... И только в какой-то захудалой аптеке на окраине города одна старенькая провизорша, ленинградка-блокадница, как она сама представилась, отнеслась к проблеме с пониманием. Деньги взяла и лекарства выдала, снабдив схемой, по которой надо его употреблять. Схему чисто по привычке политработника старательно переписал в свой блокнот Некипелов.

— Когда пропьёте курс, обязательно сделайте провокацию, — наставляла Литвяка блокадница.

— Как это провокацию? — вытаращился Литвяк. — Снова с ба.. с женщиной что ли?

— Да, нет же, молодой человек. Просто выпейте вместе с

вашим другом, да покрепче и посмотрите на реакцию, — с пониманием улыбнулась она. — Если всё нормально, значит, лечение прошло успешно.

Лечение продолжалось неделю. А на следующую субботу, когда явные признаки болезни были устранены, устроили провокацию — завалились в ближайшую пивную, где и накушались до соплей. То есть, под завязку.

Из подвальчика возвращались в санаторий пешком, всё под тем же, непрекращающимся снегопадом. Шли, горланя популярное: «Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места...»

На душе было весело и вольготно.

На Каменном острове, сами не зная как, очутились возле какого-то длинного глухого забора, выкрашенного в тёмно-зелёный цвет. Пошли вдоль него, продолжая петь во весь голос. Внезапно, перед ними выросла фигура милиционера в полушубке и каракулевой шапке:

— Вы кто такие? Чего здесь шляетесь? Чего орёте? В вытрезвитель захотели? — строго возрился он на них.

— Нет, в вытрезвитель не хотим! Мы из санатория ВВС, офицеры... Отдыхаем. А разве запрещено здесь гулять?

Милиционер неожиданно сменил гнев на милость:

— Вот, что, лётчики, это дача товарища Романова. Если не хотите больших неприятностей, кончайте шуметь и отправляйтесь быстрее в свой санаторий. Ясно?

Некипелов и Литвяк переглянулись. Романов — первый секретарь Ленинградского обкома и член Политбюро ЦК КПСС... Быть задержанным у его дачи в пьяном виде — это было посерьёзней какого-то «насморка». Тут не только из партии, но и из армии попрут.

Вежливо попрощавшись с грозным милиционером, они тут же ретировались, благодаря судьбу, что отделались так легко.

Наутро снегопад прекратился. Через день Литвяк уехал в свой гарнизон, а после Некипелов отбыл к своему месту службы, и ленинградское происшествие позабылось.

Через два года в политотдел авиации округа, куда перевели к этому времени Некипелова, приехал лектор из Москвы. Он рассказывал о подвигах наших авиаторов в Демократической Республике Афганистан и назвал среди прочих отличившихся капитана Виктора Литвяка.

— Командир эскадрильи капитан Литвяк, — говорил он, — рискуя жизнью экипажа, посадил вертолёт на скалу в таком высокогорье, где по всем законам аэродинамики вертолёты вообще летать не могут. Да ещё в обильный

снегопад... Это просто невероятно! Под огнём душманов взял на борт разведгруппу десантно-штурмовой бригады с важным пленным, командиром крупного бандформирования. Его захват способствовал налаживанию мирного переговорного процесса в провинции Саманган...

— Вы не знаете, что стало с самим Литвяком, товарищ полковник? — после выступления подошёл к лектору Некипелов.

— Насколько мне известно, капитана за совершённый подвиг представили к званию Героя Советского Союза... А вы знакомы с героем, старший лейтенант?

— Да, просто как-то отдыхали вместе... — буркнул Некипелов.

И как-то однажды вернулся Некипелов из служебной командировки и застал жену с любовником. Любовнику начистил морду, а с женой состоялась «бурная сцена», закончившаяся примирением и постелью... После обнаружилось, что болен. Вот тут-то и осознал Некипелов в полной мере, какой ужас испытал в своё время заболевший Литвяк. На всю жизнь остался Некипелов благодарен сердобольной блокаднице за подсказанный рецепт...

## ТАЙНЫЙ СОТРУДНИК

Громов с детства мечтал стать разведчиком. Все книжки в городской библиотеке про чекистов и про шпионов он прочитал запоем, а фильмы «Подвиг разведчика», «Сильные духом» и «Щит и меч» смотрел в кинотеатре едва ли не каждый день, пока шёл показ.

Но поскольку в его южном городке узнать, где и как готовят разведчиков, было невозможно, поступил Громов в обычное военное училище связи. Там у него проявилась склонность к общественной работе. Поэтому, после назначения в полк, лейтенанту Громову предложили стать секретарём комитета ВЛКСМ.

Комсомольская работа расширила круг его знакомых: работники местного областного комитета комсомола, учителя соседних школ, сотрудники клубов и библиотек, где проводились комсомольские мероприятия. Особенно подружился Громов с Олегом Закутько — заведующим отделом оборонно-массовой работы обкома. Закутько оказался парнем прямодушным, обаятельным, открытым. Такие люди всегда нравились Громову.

В числе приятелей оказался и начальник особого отдела полка капитан Листовой. Был Листовой из «пиджаков», то

есть, призван в армию после гражданского вуза. По профессии он был учитель ботаники, по хобби — книгочел и знаток литературы, и тем сразу пришёлся по душе Громову, пробовавшему писать короткие рассказы. Ну, и конечно, Громову льстило, что он дружил с человеком из секретных органов, куда сам когда-то мечтал попасть...

Громов, в свою очередь, познакомил Листового и Закутько. Посидели, выпили, понравились друг другу. С той поры ни одного выходного не проходило, чтоб приятели не собирались, то в бане за кружечкой пива, то на берегу речки с удочками...

Всё было в ажуре до одного случая, изменившего их отношения. Как-то Листовой пропустил общий сабантуй, потом поинтересовался, как всё прошло. Громов рассказал, сделав упор на то, что и напились и напелись...

— Что пели-то? — спросил Листовой.

— Да, разное. Военные, комсомольские. А потом Закутько на ридной мове запел — заслушаешься... Голос у него, хоть в Большой театр бери!

Рассказал об этом Громов и забыл. А через день Листовой зашёл к нему в комитет комсомола и бухнул с порога, что с Громовым хочет встретиться один важный человек.

— Кто такой? — поинтересовался Громов.

— Поедем, там узнаешь.

На «шестёрке» Листового они выехали за ворота гарнизона и покатали в центр города. За всю дорогу не проронив ни слова, Листовой притормозил у подъезда областного управления КГБ.

С трепетом вошёл Громов в «святая-святых», не понимая, кому он мог понадобиться и по какой причине.

Старший сержант с буквами «ГБ» на синих погонах проверил пропуск у Листового и внимательно просмотрел все страницы удостоверения Громова, потом взял под козырёк.

Громов и Листовой поднялись на третий этаж в приёмную начальника управления. Секретарша, очевидно, была хорошо знакома с Листовым. Она ласково улыбнулась ему и окинула Громова пристальным взглядом кондукторши в автобусах или женщины-разведёнки.

— Проходите, вас ждут, — произнесла она с пониманием своей важной миссии.

В длинном сумрачном кабинете, стены которого были закрыты такими же, как в обкоме комсомола, полированными панелями цвета морёного дуба, за объёмным столом с бюстом Железного Феликса, сидел



человек с полковничьими погонами на плечах. Он не спеша поднялся навстречу.

— Здравствуйте, Иван Сергеевич. Называйте меня, Владимиром Николаевичем, — он пожал руку Громову. Рукопожатие было крепким и сам полковник, хотя едва доходил Громову до плеча, внушал уважение и невольный трепет. Наверное, всё дело было в глазах, колючих, как буравчики. Крючковатый нос, высокий лоб с залысинами — словом, вылитый «ястреб холодной войны». Так на карикатурах изображали хищных американских империалистов.

По-свойски, но — не запанибрата — полковник поздоровался с Листовым, пригласил за стол, стоящий в торец его начальственному, и сам уселся не в своё кресло, а на стул напротив. Выдержав томительную для Громова паузу, спросил:

— Вас должно быть удивляет моё приглашение?

Громов слишком поспешно кивнул, невольно выдав своё волнение. И это не ускользнуло от пронизательного взгляда полковника и, похоже, понравилось ему.

— Я слышан о вас, — сказал он веско. — Знаю вас, как честного офицера, молодого коммуниста, человека преданного нашим идеалам.

«Что же ему от меня надо? — терялся в догадках Громов, с трудом выдерживая взгляд полковника. — Чего он тянет?»

Но полковник и не думал тянуть. Сразу взял быка за рога:

— Ко мне поступила информация, что сотрудник областного комитета комсомола Закутько Олег Петрович, с которым вы состоите в дружеских отношениях, является носителем националистических взглядов и убеждений. Вы можете это подтвердить?

Громов оторопел. Ничего подобного он услышать не ожидал. Во рту у него сразу пересохло.

— Нет, не могу, — не сразу выдавил он из себя.

Полковник укоризненно покачал головой:

— Как же не можете. А не вы ли говорили, что Закутько любит петь украинские песни и на ридной мове гарно размовляет? — он выразительно посмотрел на Громова.

Только тут до Громова дошёл истинный смысл происходящего. Он вспыхнул, но полковнику ответил, как можно сдержаннее:

— Товарищ полков... простите, Владимир Николаевич, мне, кажется, мои слова были неверно истолкованы. Я, действительно, как-то похвалил певческие способности Олега Петровича и не более того. Да, Закутько говорит по-

украински. Но ведь он сам — украинец, кажется из-под Ровно... А песни он поёт разные, и русские, и украинские... Но все они написаны известными советскими композиторами и поэтами... Что же касается политической характеристики товарища Закутько, то могу утверждать с полной ответственностью, он — наш, советский человек!

— Да, вы не волнуйтесь, Иван Сергеевич, — взгляд полковника сделался чуть-чуть добрее. — У нас служба такая: поступила информация. Её надо проверить. И перепроверить, если потребуется... Спасибо, что не отказались приехать.

Громов про себя усмехнулся: «Попробовал бы я отказаться...», но вслух произнёс то, что полковник хотел от него услышать:

— Полагаю своим долгом коммуниста помогать органам безопасности.

Полковник поднялся со стула:

— Хочу вас предупредить: о нашем разговоре, пожалуйста, никому не рассказывайте. Тем паче, самому Закутько. Ясно?

— Так точно, — по-армейски ответил Громов.

— Надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится, будет длительным и плодотворным, — полковник на прощание ещё раз мёртвой хваткой стиснул ладонь Громова.

Только в машине Громов, наконец, дал волю своему гневу:

— Зачем ты передал наш дружеский разговор? Это же настоящее предательство!

Листойвой и не думал оправдываться:

— Ты ничего не понимаешь, а ещё мечтал стать разведчиком! В нашей службе нет ничего личного! Всякая информация важна. К тому же, скажу тебе по секрету: Закутько у «конторы» на особом контроле.

— Как это на особом? Он, что — враг?

Листойвой понизил голос и сообщил доверительно:

— Да, нет. Просто написал заявление с просьбой отправить его учиться в Высшую школу КГБ. И потому должен быть проверен по высшему разряду. А ты сам-то не передумал стать чекистом?

Громов пробормотал что-то невнятное. Но с этого дня грезить о карьере разведчика перестал. Да и дружба с Листойвым и Закутько оборвалась.

Ещё раз судьба свела Громова с тайным ведомством много лет спустя, уже в пореформенной России. К этому времени он стал полковником, военным журналистом и открыл тему

первых русских поселенцев на Аляске. Областная библиотека решила провести широкую презентацию книги его очерков.

Один знакомый депутат посоветовал Громову пригласить консула США по культуре, который, дескать, родом оттуда, с Аляски, к тому же — историк по образованию и может быть полезен для дальнейшего продвижения книги. Громов возражать не стал.

Через несколько дней Громову позвонили. Мужской голос на ломанном русском сообщил, что консул, господин Хаган ждёт его завтра в своём консульском отделе для знакомства и переговоров.

Громов сказал, что придёт. И тут-то в нём проснулась вышколенная годами советско-американского противостояния бдительность: как он, действующий офицер, пойдёт на территорию чужого государства, не получив разрешения командования и специальных органов?

К счастью, соседом Громова по лестничной площадке был подполковник Сойкин, служивший в особом отделе округа, и время от времени заходящий, пропустить чарку-другую и поболтать на отвлечённые темы.

Сойкин отнёсся к сообщению с неподдельным интересом. Пообещал немедленно сообщить коллегам из областного управления ФСБ. И уже через пару часов на связь с Громовым вышел капитан, назвавшийся Игорем, и назначил randevu в сквере у драмтеатра в половине седьмого вечера.

Игорь оказался приятным молодым человеком неброской наружности. «Наверное, таким и должен быть настоящий разведчик, чтобы его было труднее запомнить», — промелькнуло в голове у Громова.

— Вам, Иван Сергеевич, горячий привет от полковника Закутько, вашего давнего знакомого, ещё по городу N, — безошибочно назвал Игорь первое место службы Громова.

— От Олега Петровича? — не поверил своим ушам Громов.

— От него самого. Олег Петрович недавно назначен к нам заместителем начальника управления. Он с большой теплотой вспомнил вас и годы комсомольской юности...

«Значит, донос Листового не помешал Закутько поступить в школу КГБ...» — тихо обрадовался Громов.

— Олег Петрович поручил мне проинструктировать вас о поведении там, куда вы завтра пойдёте, — перешёл к делу Игорь. — Скажу прямо, как офицер офицеру: вы поступили очень осмотрительно, предупредив нас об этой встрече. Господин Хаган — профессиональный разведчик, сотрудник ЦРУ с многолетним стажем... — заметив, что Громов

внутренне напрягся, успокоил: — Смело идите на встречу, но помните: вас будут пытаться завербовать. Первый признак вербовки, если Хаган станет долго рассказывать о себе. Это профессиональный приём, который должен расположить собеседника, вызвать доверие и встречную откровенность...

Далее последовал подробный инструктаж, что и как говорить Громову, как себя держать с иностранцем.

— После встречи, Иван Сергеевич, пожалуйста, проинформируйте меня, как всё прошло. Олег Петрович очень надеется на вас... — чуть заметно улыбнулся Игорь, прощаясь.

Встреча с американцем была разыграна, как по нотам. Хаган вёл себя в точности, как предсказывал Игорь. Он много рассказывал о своём аляскинском детстве, об учёбе в университете, об археологических экспедициях вглубь материка, о загадочных тотемах индейцев-тлинкитов и своей неизменной любви к великой русской литературе... Громов, следуя инструкции, больше молчал, внимательно слушал и запоминал. На вопросы американца отвечал односложно. И тот вскоре потерял к нему всякий интерес. Но на презентацию прийти согласился и попросил три билета для себя и своих сотрудников.

Громов передал билеты американцу и попрощался.

Игорь, выслушав отчёт Громова, в свою очередь, взял шесть билетов на предстоящее мероприятие:

— Вы же понимаете, за такими «археологами» нужен глаз да глаз... Неровен час, не то, и не там накопают... — с многозначительной улыбкой пояснил он.

— А Олег Петрович на презентации будет? — спросил Громов.

— Знаете, Иван Сергеевич, начальникам такого уровня публичные мероприятия посещать у нас не рекомендуется... Но я передам товарищу полковнику ваше желание повидаться.

Представление книги было многолюдным и торжественным. Взволнованный Громов подробно рассказал о своей работе, раздал несколько десятков автографов. Хаган выступил с короткой речью об истории своей родины, а на фуршете провозгласил тост за российско-американское сотрудничество и дружбу. Все дружно кричали «ура» и чокнулись бокалами с шампанским. Всю презентацию по пятам за Хаганом и его коллегами парами ходили «топтуны» (так, кажется, называются сотрудники и сотрудницы наружного наблюдения). Громов без труда заметил незнакомцев в строгих костюмах среди своих друзей и

коллег. Ему даже показалось, что слежку за собой обнаружили и американцы. Но они упорно делали вид, что ничего не замечают, щедро раздавали свои визитки, щёлкали фотоаппаратами и демонстрировали широкие, голливудские улыбки. Словом, праздник удался на славу и долго был ещё предметом разговоров в Союзе журналистов.

А вот повидаться Громову с Закутько так и не получилось.

Игорь сказал, что полковник неожиданно отправлен в длительную командировку. Но и эти скупые слова он сказал так, что Громов содрогнулся и проникся важностью услышанного.

— Олег Петрович обмолвился, что вы когда-то мечтали стать разведчиком... — вдруг сказал Игорь.

— Была такая детская мечта... — смутился Громов.

— Так, ведь ничего ещё не поздно, — серые глаза Игоря излучали доброжелательность и дружелюбие. — Вы очень способный человек, Иван Сергеевич, и к тому же — патриот России. Это сегодня такая редкость. Исходя из этого, мне поручено предложить вам долговременное сотрудничество... Скажем, не согласились бы вы информировать нас обо всём происходящем в местной журналистской среде, что пишут, о чём говорят? Конечно, на взаимовыгодных условиях.

— Вы предлагаете мне стать осведомителем, капитан? — Громов на миг опешил, но потом гордо вскинул голову: — Извините, но я — русский офицер. У нас доносительство не принято...

— Ну, зачем вы так, Иван Сергеевич? — лицо Игоря стало строгим и неприступным. — Я предлагаю вам помогать органам в разоблачении врагов отечества...

— Это можно было и не предлагать. Если такой враг среди моих коллег появится, сам его к вам за шкуру приведу. А штатным информатором, извините, не буду...

Игорь снова растянул узкие губы в улыбке:

— Вот и хорошо. Рад, что мы поняли друг друга.

Уходя, он бросил загадочно:

— Что же касается доносительства, так у нас добровольных помощников, поверьте, и без вас, уважаемый Иван Сергеевич, предостаточно... Вы же, человек твёрдых убеждений и чести, помогли бы отсеять зёрна от плевел...

Громов поёжился: «Значит, среди журналистов, кто-то «стучит»... Но кто? Вроде все такие порядочные люди...»

С тех пор он другими глазами смотрел на коллег, подозревая в доносительстве каждого и стыдясь своих собственных подозрений.

Как-то в Доме журналистов, проходя мимо курилки, он

увидел доцента университета и светоча местной журналистики Раказина, курящего в окружении трёх юных дев. Раказин между глубокими затыжками вещал с апломбом небожителя:

— Да мне все эти спецслужбы: КГБ, ФСБ, ЦРУ глубоко индифферентны. Я ничего не боюсь! Я в жизни и не такое видал. Два года в дисбате кайлом мёрзлое дерьмо отковыривал. Саданёшь по нему — брызги на солнце радугой переливаются. А мороз пятьдесят градусов...

Громов знал, что Раказин любит прихвастнуть, пустить пыль в глаза, особенно молоденьким девицам. Впрочем, он и с коллегами, обычно, в карман за словом не лез, много о себе разных историй рассказывал. Но про дисбат Громов слышал впервые.

Он невольно замедлил шаг, стараясь оставаться незамеченным, и напряг слух. Но на него и так никто не обращал внимание. Девицы, как зачарованные, таращились на Раказина, буквально поедая его влюблёнными глазами. Одна из них белобрысая и плоскогрудая, не выпуская сигареты из полураскрытого рта, раскачивалась в кресле, словно кобра перед флейтой заклинателя:

— А как вы в дисбат попали, Ювеналий Эдуардович?

Раказин как будто ждал этого вопроса. Он набычился, придавая лицу ещё более brutальное выражение, и зло процедил:

— Да всё из-за стукачей! Одно гадёныша на апперкот поймал, а меня сразу в казарменные хулиганы записали и — за Полярный круг...

Девицы заахали и вытаращились ещё сильнее:

— А как же вы потом, в университет, в аспирантуру?

— Если человеку дан настоящий талант, он и стену лбом прошибёт...

Дальше слушать рассказы Раказина Громов не стал, пошёл прочь. Но фразу про дисбат запомнил. И когда к очередному юбилею Раказин опубликовал свои мемуары, прочитал их с пристальным вниманием.

В мемуарах Раказин в соответствии с требованиями эпохи, обрушивался на советскую тиранию, в цветах и красках описывал, как невыносимо тяжело ему, Раказину, жилось при прошлой власти, как не пускали его, молодого таланта, на страницы толстых журналов злые и бездарные фронтовики, как непроста и извилиста была его жизненная при них дорога. Особенно упирал Раказин на два года, которые ему пришлось провести в страшном дисциплинарном батальоне, где заставляли изо дня в день есть невкусную баланду, а после

ломом отбивать наледь в отхожих местах.

«Надо же, не врал, значит, тогда девицам...» — удивился Громов. Но гораздо больше его удивило другое. После «отсидки», Раказин сразу же поступил на журфак. По окончании вуза, он, единственный из всего курса, был направлен в загранкомандировку в Пакистан, где несколько лет преподавал журналистику в Пешаварском университете. Там же женился на француженке. Развёлся. Вернулся на кафедру в родной университет, успешно защитился, и по сей день процветает, возглавляет, учит, раздаёт оценки...

Громов досконально знал советскую систему: «Ну, не могло быть так, чтобы всё это сошлось в одной судьбе: дисбат и поступление в универ, загранкомандировка в капиталистическую страну и разрешение сначала жениться на француженке, а после развестись с нею, защита кандидатской и тёплое место доцента... Всё это взаимоисключающие события: в вуз никогда не принимали с «волчьим билетом». Имея за плечами даже погашенную судимость или только намёк на неё, нельзя было и мечтать о загранкомандировке. А уж связь с иностранкой не прощалась никому... А если и могло всё это случиться с человеком, то только в одном единственном случае: какая-то очень могущественная сила вёла его через все эти передряги, чьи-то очень важные поручения он исполнял... Скорее всего, Раказин и есть тот тайный сотрудник, о котором проговорился Игорь! Наверное, ещё в дисбате армейские особисты завербовали... После — коллегам на «гражданке» передали по эстафете... А те и помогли сделать карьеру. Наверняка, до сих пор его услугами пользуются...»

И хотя никаких иных подтверждений принадлежности доцента к секретной службе у него не было, он старался держаться от Раказина подальше. Ибо сам Громов, пусть и не мечтал уже давно быть разведчиком, но так и не научился держать язык за зубами.

## ПОЭЗИЯ

Александр Романовский

## ИЗ ПЕСЕННОГО АЛЬБОМА\*

\*\*\*

Простуженные нотки октября,  
Навязчиво предложенные ветром,  
Мне душу вместо листьев теребят,  
Даруя золото сгорающего лета!

И вечера с уютной дремотой  
Вдруг ночи беспокойные меняют,  
И жизнь суетная напрасной пустотой  
Нас на колени перед вечностью роняет!

И главная задача для души,  
Закутанной ажурным модным шарфом, —  
Чуть тлеющую грусть — не затушить  
И бег сменить едва заметным шагом!

И дрожью пронизать до самых пят  
Уставшее, расслабленное тело!  
Стихами я и музыкой распят,  
Чтоб на кресте моя душа жила и пела!

---

\* Александр Романовский известен читателю как творец поэзии духовного содержания. В этом номере мы представляем его как автора текстов песен. В подборку вошли некоторые тексты из нового альбома, который увидит свет в 2014 году.



**НА ПОРОГЕ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ**

Все года мои бегут  
В суете дрожащих строк!  
Рифмы в них мои не врут,  
Я душой писать их смог!

В этой жизни много дел  
Сделать я уже успел.  
Лишь сберечь свою любовь  
Так и не сумел!

На пороге светлых дней  
И уставших злых ночей  
На просвете жизни всей  
Силуэт мне твой видней!

Значит, скоро я приду,  
Прогоню твою беду,  
Обниму тебя, обниму тебя, обниму!

Море, реки, города —  
К небесам тропой земной,  
Странствий наших череда —  
Все уходит в мир иной!

Но не скроют тишь и мрак:  
Вечности гремящий всплеск,  
Наших душ любовный такт  
Серебристо-синий блеск!

Наш гитарный перезвон  
Может растворить закат.  
Всю печаль прогонит он —  
Музыкальный наш набат!

Значит, лишь один рассвет  
Будет освещать наш путь,  
Путь из долгих-долгих лет,  
Нашей жизни яркой суть!

\*\*\*

Мы с тобой никогда не встречались.  
Души в полёте свободными были всегда.  
Вечной разлукою мы обвенчались,  
Чтобы хоть небо друг другу отдать!

Встречи на небе для нас очень близки.  
Души родные и помнят и любят всегда!  
Наши земные желанья жестоки и низки,  
Только любовь высотой небесной горда!

Всё в этой жизни я делал легко и беспечно.  
Денег и славы и ласки телесной желал.  
Только сейчас осенило духовным и вечным,  
Ангела с неба для помощи Божьей позвал!  
От сожаленья спасает нас Вера.  
Грусть и тревога — им сердце не сжечь.  
Только Любовь открывает нам двери.  
Только Надежда собою нас может увлечь!

Не было встречи, и нет расставанья,  
Не было слов — не будет и слёз.  
Не было счастья — не будет страданья.  
Только красивые сны из увиденных грёз.

**БЕЗ МУЗЫКИ, СТИХОВ И ПЕСЕН**

Без музыки, стихов и песен  
Ни дня уже мне не прожить.  
Мне мир без них не интересен.  
В нём веселиться и тужить.

Без вскрика радости и грусти  
Сердца людские — не занять.  
И льётся море звуков в устье  
У рек, вернувших души вспять!

По жилам, вздрогнувшим волною,  
Я посылаю свой заряд!  
Глаза — дрожащей пеленою  
Я одеваю в свой наряд!

Друзья, вот это — наше счастье,  
Гармония настигла нас,  
Прогнал куда-то все ненастья  
Мой мелодический рассказ!

\* \* \*

Так часто человеческое слово  
Нас больно может клонуть невзначай!  
Не покидай нас, Господи, и снова  
Ты совести лишь нашей отвечай!

И если с нами Ты — никто нас не осудит  
Ни на рассвете, ни в промозглой тьме,  
И путь наш и тернист и труден,  
Как все пути идущих по Земле!

Прости нас, Господи, и званых, и не званых,  
Стоящих в церкви и бегущих в суете,  
И залечи нелеченые раны  
От человеческих неправедных затей!

Прости нас, Господи, мы просим в этой песне!  
И пусть не в церкви мы и рядом нет икон —  
Нам лишь с Тобю этот мир не тесен  
И слышен громкий Колокольный звон!

И мысль свою и слово и, конечно, дело  
Мы заряжаем только добротой!  
Чтоб в упоении наши души пели  
И мир наш наполнялся красотой!

Так часто человеческое слово  
Нас больно может клонуть невзначай!  
Не покидай нас, Господи, и снова  
Ты совести лишь нашей отвечай!

## УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ

Развернись, душа моя, пошире,  
И обиду в песню преврати,  
В этом странном и жестоком мире  
Нам умение прощенья возврати!

Сердце, не посмей в победном крике  
Чей-то слабый голос перекрыть.  
С гордостью философа в тунике  
Чванства прогони дурную прыть.

Нас бегом по жизни торопиться  
Заставляет шум людской гульбы,  
Ах, как надо Богу помолиться,  
Чтоб пришло спасенье от мольбы!

Виктор СЛАВЯНИН

**НЕПРОЧИТАННОЕ ПИСЬМО**

Рассказ из повести «Затерянный остров»

*Лучшему танкисту Второй мировой войны  
Иону Лазаревичу Дегену  
посвящается.*

Татьяна Лукьяновна спала урывками...

А ночь не молчала.

...Налетел со степи шальной ветер и принялся шарить среди ветвей. Но не найдя ничего путного, убрался...

...Прошёл вниз сухогруз «река-море». Его глухое неторопливое гудение, как дыхание быка, тянущего непосильный груз, спутать невозможно было с кем иным ...

...Леонид ворочался беспрерывно — это означало, что он выпил лишнего...

...Забухтел дизель Лукича. Долго бормотал однообразную песню, распеваясь, и вдруг сорвавшись громким воплем, отошёл от берега. Какое-то время волны кидались на береговой песок, словно старались убежать от грубого буксира... Скоро его бурчание растворилось над речной пустотой...

...Поднялся Леонид. Стараясь шуметь негромко, долго одевался. Зашуршала трава за стеной палатки.

«А что было двенадцатого июля?» — вспомнила Татьяна Лукьяновна вопрос мужа, который застрял в сознании неизвестно почему. И подумала счастливо: «Судьба Онегина хранила...» Как всё удивительно складывается мимо нашей воли... Я про него знаю всё... А он ни разу даже не спросил у меня, что было со мной до нашей первой встречи... как будто мы родились в один день и прожили одной жизнью от первого вдоха... Разве только: «Где мои штаны?» и «Что было?..» Татьяна Лукьяновна, не поднимая век, улыбнулась своим мыслям. Ей почему-то вспомнился липкий, приставучий главный врач Буйнакского госпиталя. Звал замуж и всё допытывался: «А кто у тебя был ещё?», точно боялся встретится с самим собой:

«Наверное, пошла бы, — подумала она. — Да Бог на

счастье привёз переломанного летуна Леонида...»

...Ударил обод термоса о венчик стакана. Чуть слышно ложечка размешивала сахар... Снова зашуршала трава. От реки долетел глухой стон каюка — на дно положили якорь... Уключины встали в борта... Скрипнули вёсла раз, другой и зашуршали, отгребая воду... Леонид уплыл на рыбалку...

И всё утихло...

За закрытыми глазами, в сознании Татьяны Лукьяновны почему-то вдруг возникло лицо покойной матери. Она — в длинной до пят белой рубахе. Волосы падают на плечи...

— А где отец? — спросила мать. И сама же ответила: — Пошёл траву косить корове... А ты, доченька, не спи долго... В институт опоздаешь... Поезд только через день на нашей станции... Поезжай. Незачем тебе в магазине за кассой сидеть. Ты же «крепдешинка».\* А мы с отцом тебе варенья передавать станем... И не забудь, что завтра должен внук с сыном приехать. Ты их обязательно вареньем покорми...

— Какой внук, мама? — прошептала Татьяна Лукьяновна, не открывая глаз. — Ты до внука не дожидаясь, а о твоём правнуке мне нужно тревожиться... — Мысли о сыне и внуке вдруг перемешались с памятью о матери и отце. — А действительно? Почему Леонид никогда не интересовался, с кем я была?.. Даже про первого мужа не спрашивал. — Эта мысль родила нелепую, непонятно откуда взявшуюся, обиду на мужа. Отогнала полудрёму.

Она открыла глаза, посмотрела сквозь окошко в матерчатой стене, на зарождающийся рассвет, словно ожидала, что именно сейчас появится сын с невесткой и внуком.

— Лучше бы мальчики приехали одни, — подумалось ей. — Начнёт варить... Господи, спаси и сохрани!.. Моя мама свиньям вкуснее готовила...

Вдруг вспомнились первые пирожки для мужа... Подгорели крепко... Серафим пришёл вечером со службы. Ел, запивая молоком... Морщился, но ни слова не сказал...

«А всё танцы...» Вспомнилась подруга по комнате в институтском общежитии. Татьяна Лукьяновна попробовала вспомнить её лицо. Но оно, давно истёршееся из памяти, так и не появилось.

---

\* Крепдешинка — ученица, окончившая школу с отличным аттестатом. Вместо нынешних «медалей» до 1944г. в советских школах «отличникам» вместе с отличным аттестатом выдавали отрезки в качестве награды: девушкам крепдешин на платья, а парням — бостон на костюмы.

— Пойдём на танцы! Мне пригласительный достался в профкоме... В «Клуб Красной армии» на двух человек.

— Какие танцы!? Сессия на носу, — отказалась Татьяна.  
— А я даже не прочла «Детские болезни» до конца... И утром у нас «анатомка».

— Так и останешься в старых девах со своими ангинами!

— Не хочется получать тройку... И коллоквиум по старообрядчеству в Российской империи».

— В «загсе» не спрашивают про оценки по признакам туберкулёза у младенцев... А я ничего не понимаю в этих поповцах и беспоповцах. Зачем детскому врачу всякие там «древние благочестия»?\* А до сессии три месяца... почти... Придём назад... мама мне передала банку абрикосового варенья.

...Татьяне клуб не понравился уже от парадной двери. Двое военных проверяли пригласительные билеты и недобро разглядывали входящих.

В зале натоплено, душно. Вдоль стен тянутся толстые трубы, пышущие жаром. На маленькой сцене духовой оркестр с очень громким барабаном. Было ощущение, что только-только закончилось кино «Весёлые ребята», а герои-музыканты сошли с экрана и специально остались на сцене только на вечер танцев. Мелькают командирские мундиры. Тёмно-зелёные, тёмно-синие. Выделяется один высокий, с бородкой в чёрном мундире с белой полоской на рукавах, в широченных клёшах, Танцует всё время с разными женщинами.

Татьяна стояла у стены, стараясь не обжечься о горячую трубу. Танцевать не хотелось совсем. Ела себя поедом: «Зачем я сюда пришла?»

Оркестр заиграл «Андрюшу».\*\* Вдруг перед глазами вырос высокий с бородкой в чёрном мундире.

— Я не танцую, — ответила Татьяна.

— Почему? — с наигранным удивлением спросил чёрный мундир.

— Потому что с вами не хочу.

Но он протянул руку, желая затянуть её в толпу. Она отшатнулась. Наскочила на военного, который стоял за спиной.

Долговязый в чёрном исчез. Его голова плавала над водоворотом танцующих, но больше он не подходил.

---

\* Древнее благочестие — движение староверов против реформ Никона.

\*\* Переделка популярной песни «Andrjuszka» Людвика Старского.



А Татьяна стояла рядом с военным. Стояли молча. Она только искоса поглядывала на мундир. Привлекала одинокая звезда на рукаве вместо примелькавшихся углов-шевროнов и такая же в петлице.

— А почему он не танцует? — подумала Татьяна, бросая короткие взгляды на профиль военного.

Он стоял, стиснув плотно тонкие губы, и смотрел не моргающим взглядом на танцующих. Только иногда начинал шевелить кончиком носа, точно ему что-то мешало изнутри дышать.

«У него искривление носовой перегородки», — предположила Татьяна.

Военный вынул из кармана брюк большие чёрные часы. Взглянул на циферблат и, хлопнув крышкой, упрятал назад.

— Сколько времени? — спросила Татьяна.

— Почти девять — ответил военный. И пошёл к двери.

«И я пойду» — решила Татьяна.

Они остановились у гардеробной стройки.

— Я вам помогу — сказал военный и взял её пальто у гардеробщицы.

Вышли на улицу. Вечерний воздух был пропитан мартовским весенним ароматом.

— Вам куда? — спросил военный.

— На Тарасовскую. А вам?

— Мне далеко.

Уже у двери общежития военный сказал:

— Меня зовут Серафим. Пойдёмте в воскресенье в цирк. Там Кио фокусы показывает.\* Я в них не верю, но говорят... весело.

\* \* \*

...В мечтаниях Татьяна представляла себя замужней женщиной. Это всегда рождало в душе ощущение сладостного счастья. Когда же вышли из «загса», ей показалось, что мир разрушился вдруг, что у неё нет «завтра»... Это «завтра» съела паническая боялась вечера, который обязательно должен наступить... Она не обращала внимания на февральский мороз. Ему нечего было морозить: было ощущение — вдруг лишилась тела, а вместо него остались только берет, вязаный мамой, и пальто. Шептала, умоляя кого-то, правда, не знала кого, чтобы остановил время.

---

\* Кио Э. Т. — советский артист цирка, иллюзионист.

«Зачем я вышла замуж? — подумала она с отчаянием. Хотела спросить у мужа: — А что будет дальше? — Но вместо этого осторожно предложила: — Пойдём в кино?»

«Нет, — ответил Серафим. — Мы едем на нашу свадьбу».

...Трамвай гремит, ползёт мимо сугробов, наваленных вдоль путей, мимо строящегося стадиона, больницы, в которой проходит её «анатомка». А она ничего не узнаёт. Прижалась к плечу Серафима, обхватив руками правый рукав шинели. Не ехала, а проваливалась в чёрную пропасть.

Вышли у памятника пушечке, короткоствольный глаз которой угрожающе-жадно смотрел на красновато-мрачное зданиё, где кирпичи в стенах были изъедены дырами, как лицо оспой. Отворили тяжёлую калитку во двор одноэтажного домика...

Серафим толкнул дверь. Оказались в сенях, а дальше — в большой комнате.

Их встретила высокая большеглазая статная старуха в длинной тёмно-синей юбке и белой блузе с кружевным воротничком. Седые волосы прибраны на затылок, завёрнуты в тугий клубок.

— Ну-ка, ну-ка, покажись милая. Тебя как зовут?

— Таня...

— Какая ты славная и красивая...

В комнату вошли двое — мужчина и молодая женщина. Он — высокий, зеленоглазый, в костюме светло-кофейного цвета. Женщина — в цветастом платье: жёлтые розы с зелёными стеблями на серо-бежевом фоне, черноволосая. Волнистый локон прихвачен перламутровой заколкой.

— Вот, ребята, у нас пополнение, — радостно сказала старуха. — Это — Таня...

— Я — Оля, — кивнула женщина, улыбаясь и светясь большими, как у старухи чёрными глазами.

— А я Гервасий. — Подошёл к Татьяне и, взяв в ладони её пальцы, попытался поцеловать.

Но Татьяна отдернула нервно руку — ладони Гервасия обожгли.

Тот смущённо отступил на шаг.

— Пойдёмте, — сказала старуха.

В соседней комнате большой стол сервирован на пятерых: белые полуглубокие тарелки с чёрной ниткой-орнаментом виноградных листочков по канту, фужеры синего кобальта на гранённых толстых ножках.

Татьяна, улучив момент, спросила Серафима:

— Это ты у себя в Округе взял?

— Это Елена Гервасиевна организовала для нас с тобой.

- А она кто тебе?
- Никто... Просто хозяйка этого дома... и мама...
- А раньше?
- А раньше... — Пожал плечами, не находя ответа. — У неё был муж... Недавно умер.
- А... эти?
- Дети. Брат и сестра.

... Молодых посадили во главу стола — Татьяну по правую руку от мужа.

Ольги долго не было. Она появилась, сменив яркое платье на белую блузку, застёгнутую под шею. Заколки в волосах уже не было. И от этого Татьяне стало уютней и веселей. Показалось, что она не в чужом, давно укатанном жизнью, доме, а у себя в общежитии среди подружек.

Сковывавший страх сменился радостью за мужа, за этих незнакомых людей...

... Гервасий вышел в соседнюю комнату. Оттуда зазвучала музыка.

— Пойдёмте танцевать, — предложила Оля.

Гервасий сидел за огромным чёрным роялем и играл.

— Герочка, пригласи Олю, — сказала мать. — Я вам сыграю...

Она уселась к роялю. Зазвучал вальс...

Татьяна помнила свадьбу в их рабочем посёлке... На пространстве между бараками — длинные столы. Народ пил, горланил песни, отпускал скабрёзные шутки в сторону невесты. А та гоготала, как гусыня, и подпевала каждому, кто подходил с песней и стаканом... Шумное, не всегда чистое общежитие с танцами вокруг патефона по воскресениям, сейчас показалось сродни с их посёлком...

Она кружилась, не понимая, в какой мир попала. Чёрный рояль, книги по стенам, как в институтской библиотеке, молчаливо-учтивый Гервасий, обжигавший зелёным огнём больших глаз... Он пригласил на вальс...

«Как у них славно...» — подумала Татьяна.

И вдруг вернулся страх «завтрашнего дня». Он, оказалось, и не покидал её...

\* \* \*

Жили как-то каждый сам по себе.

По утрам пили молоко, которое давала хозяйка дома. Шли к платформе «Караваяевы Дачи» и ехали к вокзалу. Оттуда

Татьяна шла две остановки до института, а Серафим — по шпалам до штаба Округа. Вечером хозяйка кормила супом или борщом. Пекла вкусные оладьи или жарила картошку... Ели опять-таки с молоком. После ужина Татьяна садилась к столу и читала свои «болезни». Серафим располагался напротив. Листал газеты, чёлкал прочитанное то красным, то синим карандашами. Вдруг вскакивал. Хватал ножницы, вырезал из газеты лоскуты, прятал в портфель. При этом он всегда закрывал замки портфеля на ключ, который носил на шее и, потирая руки, начинал напевать какую-то песню. И песня всегда была иной. Татьяна спросила:

— Почему ты вчера пел про «Орлёнка», а сегодня про «Картошку»? \*

— Настроение. Читаю передовую статью... и передаётся. Ты что сейчас читаешь?

— О вирулентности бактерий при перитонитах...

— Это где болит?

— Это — сепсис. Он как-то не рождает революционного порыва. Чаще не выживают... А ты читаешь для чего? В газетах всё не интересно. Лучше книги...

— Я старший политрук Красной армии. Политработник. А политработник должен всегда быть на острие текущего политического момента.

Зачастил в гости Гервасий ...

Приезжал каждое воскресенье на самокате.\* \* Тарахтение его машины было слышно ещё от начала длинной улицы.

Услышав громкий треск, Серафим оставлял чтение газеты, принимался с нервной бесцельностью ходить по комнате, как влюблённая барышня, ждущая сватов.

В кожаной куртке, в квадратных очках на кожаном шлеме, в большущих крагах — Гервасий напоминал лягушку, которая летит куда-то. Выкладывал на стол сумку и, снимая краги, торжественно сообщал:

— Мама передала... Специально для вас, Таня. Сегодня пирожки с капустой.

Татьяна бежала в кухню разгонять примус. Муж брал щипцы и начинал откусывать кусочки от большой сахарной головки, похожей на сломанный зуб-клык.

Серафим радостно суетился, разливая чай, и что-то всегда при этом напевал.

---

\* «Орлёнок», «Картошка» — патристически-пафосные песни для молодёжи.

\*\* Самокат — здесь мотоцикл.

— Сотня юных бойцов на разведку в поля поскакала... — пел он. — Вдруг вдали у реки засверкали штыки...

— Послушай Серафим, — остановил Гервасий, разворачивая газету, в которой были завёрнуты коричневые пирожки. — Не надо петь эту песню...

— Почему? — не понимая, певуче возразил Серафим.

— Ещё мой покойный отец тебе объяснял...

— Он — человек другого понимания. Ещё другой социальной формации, так сказать. И не успел перемениться. А мы живём в новом мире...

— Частушки, конечно можно петь и в новом мире... — осторожно сказал Гервасий, — когда весело...

— Ну, почему ты так не любишь красноармейских песен!?

— Ты же военный... Если в разведку... то результаты нужно доложить командованию... Оно ждёт... чтобы принять самое важное решение.

— Это какое?

— Как одержать победу с минимальными потерями. «Не числом, а умением» — кажется, так говорил князь Рымникский.

— Всякие там князья — Красной армии не указ! — недовольно возразил Серафим.

«Князь Рымникский — это Суворов» — хотела остановить Татьяна мужа.

— Дворянин недобитый? — добавил Серафим. — А молодые бойцы не щадя своих жизней бросились на белогвардейцев...

— Твоих юных разведчиков нужно под трибунал, — сказал Гервасий. — Они не выполнили приказ. Полезли в драку. Это уже не разведка...

— А что?

— Невыполнение приказа. А за это — трибунал...

— Ты, Гервасий, ничего не понимаешь в пропаганде. А для Красной армии пропаганда — важнее всего!

— Танечка, — улыбаясь, попросил гость, — объясните своему мужу... Глупость страшнее пропаганды... — Он смотрел, съедая женщину, жадным зелённым взглядом.

Серафим умолк. Татьяна видела по нервному дёрганью кончика носа — он всё равно остался недоволен словами товарища...

Допивали чай молча.

Когда Гервасий собирался уезжать, жал руку Серафиму, в кухне, долго примерял шлем, одевая и снимая его, тщательно протирал очки... Набирал в кружку воду, выходил во двор и возвращался с пустой, выказывая

бурчанием неудовольствие своим самокатом... Прощание растягивалось на полчаса. И всё это время Татьяна ощущала на себе его мягкий, обволакивающий теплом, взгляд.

Серафим, оставшись один в комнате, сел за стол и продолжал читать газету, словно Гервасия вовсе не было в доме...

Казалось, что муж за неделю успевал совершенно забыть, о чём разговаривал неделю назад с товарищем. И с утра в воскресенье уже ждёт Гервасия.

В какое-то из воскресений, отщёлкивая кусочки сахара от головки в ожидании чая, Серафим снова запел, глядя улыбочиво на приехавшего товарища:

— Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону... Матрос, партизан Железняк...

— Вот и идём уже двадцать три года не в ту сторону, — заметил Гервасий.

Муж перестал петь. Глаза застыли, как серый холодец. Губы сжались, посинели. Щипцы, пытаясь укусить сахарную головку, соскальзывали, оставляя на белом боку глубокие полосы-раны.

Когда гость уехал, Серафим долго ходил по комнате, ломая пальцы. Было понятно — он болезненно переваривает слова товарища.

Приезды Гервасия стали тяготить Татьяну. Особенно его зелёный, горячий взгляд. Она старалась сторониться, пряча свой взгляд в пол или отводя глаза в сторону. Хотелось попросить мужа придумать что-нибудь, чтобы этот человек не приезжал.

В первое апрельское воскресенье Серафим с самого утра сидел у стола, что-то писал в толстую тетрадь. Сквозь открытое окно в комнату проникал тёплый воздух, перемешанный с ароматами цветущих вишен и черешен. Долетело уже знакомое тарахтение самоката.

Муж вскочил и, потирая руки, подлетел к двери. Только вошёл Гервасий, он радостно сказал:

— Как здорово, что ты приехал!

— Какие проблемы у слушателя партшколы? — весело спросил Гервасий. Вынул из сумки газетный пакет. Передавая его Татьяне, сказал: — Это — рыба. Судак...Сегодня великий праздник... Благовещение... В церковь нам нельзя... а дома можно.

«Зачем он приезжает? — спрашивала себя Татьяна, разделявая рыбу. — Забери этого судака и уезжай... Скажи... А я отвечу... И не надо больше сюда ездить... Я не могу...

между вами... Серафим, прогони его... Он же смеётся над тобой!.. Почему ты не видишь!»

Но эти мысли не рождали нелюбви и ненависти к Гервасию, а только беспомощную жалость к самой себе.

Когда сели есть рыбу, Серафим сказал, продолжая разговор:

— Послушай, Гервасий... Я сейчас думаю... как назвать Красную армию для всей Европы? Ведь там будут служить поляки, немцы, бельгийцы и даже англичане.

— Откуда вдруг такие всемирные мысли? — весело спросил Гервасий. — Я бы сказал — вселенские?

— Скажу тебе, хоть и не имею права. Как другу. Мне поручили написать воинский устав для будущей армии освобождённой Европы.

— Для кого? — удивился Гервасий, уже не улыбаясь.

— Для освобождённой Европы, — не понимая вопроса, повторил Серафим.

— А как это можно сделать? Одна общая армия... против кого?

— Ты же понимаешь, зачем мы подписали пакт... Теперь главное, чтобы Гитлер пошёл на нас первым.

Гервасий долго молчал, ковыряясь вилкой в тарелке. И видя, что товарищ ждёт ответа, заметил, не вынимая взгляда из тарелки:

— Так... лучше нам первыми. Для военного успеха это лучше... Кто первый, как говорится...

— Нам первыми нельзя, — объяснил деловито Серафим.

— Кто мешает?

— Зачем говорить о нас — агрессоры? Не надо... Выманить... и всё.

— А если не пойдёт? — спросил серьёзно Гервасий.

— Надо сделать всё, чтобы он — первым. А уж потом!..

Ты думаешь — зачем тридцать танковых корпусов мы к границе подтянули? — Серафим оставил вилку. — И в Европе конец буржуям с капиталистами. Вот, хочу с тобой посоветоваться, как лучше... Я придумал название для новой коммунистической армии, которую придётся создавать: «Краснопролетарская армия свободной Европы». Но чувствую... чего-то не хватает. Нужно вставить куда-то «рабоче-крестьянская»... Вставляю. Да длинно выходит. А надо коротко и ясно, как в песне.... — И запел: — «Эх, тачанка... Все четыре колеса...»

— Повезло кому-то, — сказал Гервасий, перебивая песню.

— Ехали на тачанке с четырьмя колёсами и от радости пели... А у остальных, видать, было только по три.

Серафим перестал петь и нахмурил брови.

— Ты не смей, так говорить! — потребовал он. — Ты же не враг, чтобы пропаганду...

— В задаче спрашивается: куда девалось четвёртое? — И улыбаясь, Гервасий добавил: — Это, Фима, не пропаганда, а рифмованная глупость. Сочинял какой-то бездарный стихоплёт... вроде Демьяна Бедного. Тебя же не удивляет, что по улице ходят люди в одежде. Ты в форме, и я одет... А вот если человек голый... Тогда и четыре колеса.

— Это любимая песня Красной армии!

— В Красной армии матерятся... Правда?.. Но никто же по радио не разговаривает, матерясь.

Серафим ничего не ответил. Долго жевал рыбу. Но было видно, что его съедает какое-то беспокойство. И не имея сил молчать, спросил:

— Так как бы ты назвал новую армию?

— Боюсь я, Фима, что как только Гитлер пойдёт... Красная армия начнёт разбегаться и... сдаваться в плен...

Наступило тягостное молчание. Глаза Серафима серо похолодели.

— Это как? — осторожно спросил он. — Почему?

— Потому что рабоче-крестьянская...

— Ты понимаешь, что говоришь?! — крикнул Серафим.

— Ты — спросил, я — ответил... По-дружески... Перед тем, как придумывать, не наделай ошибок.

— То глупости, то ошибки! — возмутился Серафим.

— Глупости начальство прощает, а ошибок — никогда. Ты придумаешь, напишешь доклад. Отнесёшь... А его, не сильно читая, на самый верх переправят... Сам понимаешь, что потом...

— Это — по-дружески?!

— Вы своими разговорами ещё войну накличете, — вмешалась Татьяна. Хотела сказать: — «Гервасий, уходи!» — Но добавила: — Мама моя говорила, что она уже устала от войн. Как пошла замуж — всё война, да война... От вашей войны дети пойдут — сплошные родимцы.\*

...Серафим долго не ложился. Садился к растворённому окну, бесцельно глядя в тёмный сад, потом срывался, хватал папиросу и выбегал на крыльцо. Возвращался, принося с собой душливый запах горелого табака. Разделся только далеко за полночь. Лежал, тихо шмыгая носом и тяжело дыша. Под утро, когда в окна уже пробивался чуть заметный

---

\* Родимец — младенец с врождённой падучей-эпилепсией.



восход, он вдруг вскочил, и с нервным: — «Сволочь!» — зажёл настольную лампу. Уселся за стол. Выдернул из тетради лист, принялся что-то писать. Потом изорвал его на мелкие кусочки. Этот бумажный снег ссыпал в портфель. Так он повторял несколько раз. Наконец, написав что-то, сложил исписанный лист вчетверо и опустил в портфель. Закрыл замки на ключ. Когда повесил железку на шею, подошёл к кровати и упал на подушку. Его дыхание стало тихим успокоенным. Он уснул, как сытое дитя.

...В следующее воскресенье Гервасий не приехал. А Серафим воспринял это равнодушно, точно заранее знал, что так и случится. Татьяна даже обрадовалась.

Не приехал он и на третье воскресенье.

А в один из вечеров перед Первым мая муж вернулся домой с большим вещмешком. Бросил его у двери, положил на стол портфель. И сообщил с некоторой радостной нотой в голосе:

— Завтра перебираешься в общежитие. Меня срочно отправляют на границу...

— Надолго? — спросила ошарашенная Татьяна.

— Не знаю. Когда вернусь, мы найдём новую квартиру. Ездить на пригородном паровозе надоело... Я со вчерашнего дня — батальонный комиссар. — Вынул из кармана бридж четыре петлицы с двумя шпалами в каждой и четыре новенькие нарукавные звезды с серпом и молотом в центре. — Перешей.

...Город разукрашен красными флагами и лозунгами. Бесконечные толпы с бумажными цветами и разноцветными шарами текли с разных сторон, сливались в одну реку на Интернациональной площади...

Трамваи не ходили...

Серафим и Татьяна отнесли два чемодана на Тарасовскую. Серафим ушёл за своими командировочными вещами. Встретились на вокзале. Долго стояли в кассу за перронным билетом. Поезд подали на самый дальний путь. По переходу шло много военных в сопровождении женщин и детей. Стоя у вагона, Татьяна заставляла себя не плакать. Даже пробовала улыбаться в ответ на улыбку мужа. Но внутри у неё горел огонь, который сжигал, казалось, её, пытящий паровоз, вагоны один за другим, и даже пятиугольное здание вокзала...

С привокзальной площади долетали звуки маршей. И под их бравурные всхлипывания поезд ушёл, заматавая себя белым дымом, как вдруг налетевшей холодной снежной порошей....

\* \* \*

...По расписанию первый день недели самый тяжёлый — практическое занятие на кафедре детских болезней. С восьми утра до четырёх вечера. Ехать к чёрту на Кулички — в Областную больницу к Еврейскому кладбищу.

На трамвайной остановке у Евбаз\* толпа. Уже полчаса ждут трамвай на Лукьяновку, который должен прийти с вокзала...

Татьяна с боем втиснулась.

«Таня» — позвал чей-то голос.

За спиной стояли две женщины. Оля и её мама. Лица их были сосредоточенно неприветливы. Казалось, большие глаза женщин уменьшились, поблёкли.

— Что же вы не приходите в гости? — неулыбчиво спросила Оля. — Гервасий письмо передал...

— Серафим уехал в командировку... — оправдалась Татьяна смущённо. — А я вернулась в общежитие... Он приедет...

— Письмо для вас... — сказала Оля.

Татьяна опустила глаза. И чтобы избавить себя от неловкости, спросила:

— А почему Гервасий не приезжает?

— Его арестовали, — тихо ответила Оля.

— Как!? — вырвалось у Татьяны. — Когда?

— После Благовещения... На третий день. Пришли ночью...

— Дальше ехали молча, с трудом выдерживая выворачивающий стальной лязг трамвайного железа.

— Вы, Таня, заходите к нам, — сказала Оля.

Они вышли у «Клуба трамвайщиков». Медленно пошли к Лукьяновской тюрьме, что высилась у подножья холма.

Татьяна проводила их взглядом сквозь стекло трамвайного окна...

\* \* \*

Серафим шёл следом за бойцом и кашлял — горло было забито какой-то шершавой гадостью, которая не позволяла дышать. Хриплое уханье разносилось по полуголому лесу... Видел перед собой широкую спину, — пятно шинели, — и, как телок, брёл за ней. Он не думал, куда идёт. И думать об этом не хотел. Было только желание — упасть, и заснуть. Ноги налились тяжестью. И эта тяжесть шла от головы, от

---

\* Евбаз — еврейский базар.

горла. Во рту пересохло. Пытался глотать слюну. При каждом глотании боль стальным кольцом сдавливала шею, не позволяя дышать. Ещё утром он с трудом дожевал последний кусок хлеба. Наверное, знает он, что будет идти неделю по лесу, обходя деревни, может, и не ел хлеб, а отгрызал кусочки, как мышь. В одну из ночей было холодно, и он промёрз, хоть беспрерывно ходил, пытаясь согреться. Не спасал даже костёр, который беспомощно и глупо грел холодный воздух вокруг себя, совершенно не замечая сидевших и лежавших вокруг военных... В горле вдруг стало першить, а потом и глотать стало трудно. А день назад его стало трясти — дрожь пробирала всё тело. Ноги налились тяжестью. И чувствовал, что эта тяжесть шла от головы, от горла.

Переступая через ствол упавшей ели, он зацепился носком сапога за него и упал.

— Погоди, — позвал он бойца. — Уселся на поваленную ель, втянул в плечи голову и сказал: — Не могу. Дышать нечем.

Достал из кармана шинели коробку «Казбека». Раскрыл, долго смотрел в её белое бумажное нутро. Вынул папиросу, смял коробку и бросил на землю.

— У тебя спички есть?

— Есть, — ответил боец. — Только мало. Может не хватить.

— Куда не хватить? — с хриплой настороженностью спросил Серафим.

— Сколько идтить — один Бог знает. Одной спичкой в день обходиться надобно. Лес чёрный.

— Что значит?..

— Берёз нет. Бересты бы набрать. Костёр без неё не разведёшь.

— Что значит — Бог знает? — строго прохрипел Серафим.

— Не ведомо, где мы... — отмахнулся боец. — Шибко лихо бегит супостат. Каких четыре месяца воюем, а он уж, поди, Москву сцапал... А то, не приведи, Господи, и до Урала доплёлся...

— Болтай меньше! — осёк Серафим.

— Што — болтать, што — молчать... герману без дела... Бояться надо его. А вы меня боитесь зачем-то... Мой тятя сказывал, что в Империалистическу они супротив германа цельных два года в окопах стояли... В родину не пущали... А ноне как-то совсем по-глупому.

— Сплошные предатели, — прохрипел Серафим.

— Что же вы, товарищ комиссар, про людей-то так плохо?

— А как с ними по-другому? Суки чистые! Нас вчера

сколько было?

Но боец не ответил.

— Чего молчишь? Тоже туда же рожу воротишь! Дай спичку...

— Вчера уже шестеро, — лениво сказал боец.

— Сначала было пятьдесят! Потом — тридцать! — прохрипел Серафим, со злым волнением выталкивая из себя звуки через силу. — Теперь — двое... — Волнение делало его похожим на долго бежавшую собаку, только язык не вываливался изо рта. — К немцу, суки, бегут!

— Не к немцу, товарищ комиссар, а домой. Четверо вчера ушли, как они местные. Тут их деревня близко.

— Почему не доложил?! Может, и ты собрался сбежать?.. Дай огня!

— Не положено сейчас.

— Докладывать командиру Красной армии не положено?! — задыхаясь, возмутился Серафим.

— Спички переводить не положено. А сбежать мне некуда... До моей деревни половину России топать. — Боец замолчал.

— Воевать вдруг все разучились!.. — выбрасывая из себя злость, выкрикнул комиссар. — Умели, умели — и на тебе, разумели вдруг... Суки!

— Не ругайтесь, товарищ комиссар. Скверной из уст делу не поможешь.

— Если ты такой умник — почему? — хрипя и насилуя нутро, спросил Серафим.

Боец помолчал и, заметив, как комиссар хватает воздух губами, намереваясь что-то сказать, добавил:

— Думаю, отступаем сейчас... что народ окопы рыть не хочет пока.

— Чего? — выдавил из себя недовольный хрип Серафим.

— Думат, выбирает... А как к нужной мысли придёт, так и воевать начнёт.

— Что за глупости ты несешь!?. Дай огня. Курить хочется.

— Когда к вечеру костеришко заведём... От углишка и прикурите.

— В деревню сходим за спичками.

Боец не ответил, словно речь была не про него.

Лес был пуст. Изредка пролетали между елей вороны. Приметив идущих, они садились на верхушки елей, начинали громко кричать. Срывались с веток и, словно чёрные лоскуты, подхваченные ветром, улетали.

— Нам бы в деревню какую, — повторил Серафим.

— Чужа деревня хуже новых сапог, — сказал боец, точно уговаривал ребёнка не плакать. — Идешь, а ноги выворачиват.

Вышли на просеку. Боец долго оглядывался, что-то высматривал на дороге. И сказал:

— Деревня близко... Я вас оставлю, а сам сбегаяю. Может, приветят. Хлеба отрежут... Чего другого дадут...

— Откуда взял про деревню?

— Бричечка недавно проехала... И наём свежий... шаг за шагом навален. Смердит ещё.

— А если это немец?

— Не должен. Конёк молоденькой. Год или полтора. Не кован. Ктось по срочному делу куда-то бежал.

— Какая бричечка сейчас, когда всё перешло на нужды фронта? — зачем-то не согласился Серафим. В нём закипала неприязнь к бойцу, который, как ощутил комиссар, со скрытым неуважением относился к нему. — Если ехал кто, так верхом.

— Коня сперва к хомуту приучат... А уж потом под седло... А когда под седло, то ковать обязательно...

— Махорки только возьми! — приказал Серафим. Уселся у ближней ели и привалился к ней спиной. Дышал тяжело, хватая воздух широко раскрытым ртом.

Боец подошёл к комиссару, подхватил под локти и поднял.

— Нельзя оставаться на дороге... Пойдём.

— Не могу. Воздуха нет... Может, кто подберёт...

Боец недовольно вздохнул, желая что-то ответить. Но не стал. Приложил ладонь ко лбу комиссара.

— Горячь вы... не вовремя... Рот откройте. — Заглянул и присвистнул. — Плохи дела... Всё горло поганками засыпало, что гнило дерево... Надо хворь выжимать. Место искать... Найдём — и я в деревню схожу опосля.

— Сейчас надо... — И приказал. — Махорки только возьми!

Но боец не захотел слышать слов комиссара.

Они углубились в лес, долго петляли.

— Чего ищем? — спросил Серафим, с большим трудом выдавливая слова.

— Воду. Без неё никак не выдюжаш... Ни у вас, товарищ комиссар, ни у меня фляжки-стекляшки\* нет. Воду носить

---

\* В Красной армии в 30-е годы и до 1942 г. была принята на вооружение фляга из стекла, обтянутая сукном. Она оказалась смертельным оружием против её владельца в случае случайного попадания пули — разлеталась, вспарывая осколками стекла живот.

не в чем. Вот ольшицу молоденьку с Божьей помощью същем — значит, вода близёхонько.

— А ты куда флягу девал?

— Слава Богу, эта стекляшка разбилась... Дрянь. Не жалко.

Боец уверенно шагал, непрерывно озираясь на бредущего комиссара. Срывался с места вдруг, подбегал к густым почерневшим безлистным кустам, отламывал зелёные верхушки молодых побегов и складывал в пучок.

Вдруг лес расступился, побелел. Ели сменились жёлто-коричневыми соснами. Под ногами выросли невысокие стебли зубровки. Вдали из земли вырывались к небу тонкие нити веток дербенника.

— Должно, пришли, — сказал весело боец. Осмотрелся, сбегал вправо, влево.

Они вышли к маленькому прогалу, который мыском нависал над крохотным озерцом.

— Посидите, товарищ комиссар. Я быстро.

Он сбросил противогазную сумку, вещмешок, расстегнул ремень и снял шинель. Под ней на тонком шнурочке через плечо висела сапёрная лопатка.

— Я дров нарублю. Ждите. — Сбросил пилотку и пошёл в лес.

Серафим сел у толстой сосны. Рядом положил портфель. Ему показалось, что именно от портфеля вся тяжесть в теле. Прилип к стволу и закрыл глаза. Хватал воздух. Но с каждым глотком ему становится всё тяжелей дышать. Изнутри какая-то горечь рвалась наружу. Он начал кашлять, прикрыв рот ладонью. В горле стало печь, боль превращала всё тело в камень.

Вернулся боец с охапкой сухих сучьев. Отрыл неглубокую ямку, вбил рядом с ней два рога, бросил на них перекладину и принялся ломать сучья. Спросил:

— У вас имеется чего?

Серафим открыл глаза и непонимающим взглядом посмотрел на попутчика.

— Я спрашиваю... В портфеле есть? Может, какая снедька или бумажка на растопку. А то если с одной спички не разожжём — не выдюжаш.

Но Серафим уже почти не реагировал на слова бойца. Голова отяжелела, и он с трудом удерживал её, чтобы не свалилась и не потянула тело к земле. Горло жгло, не позволяя дышать. Оттолкнул от себя портфель:

— Там бумага есть. — Снял фуражку и положил рядом с портфелем.

Боец засуетился. Движения его стали быстрыми, резкими. Схватил портфель, попробовал открыть. Но замки не поддавались.

— Ключ давайте, товарищ комиссар, — попросил боец.

Серафим долго ковырялся, расстёгивая верхнюю пуговицу на вороте гимнастёрки, и вытащил плоский жёлтенький ключик.

— Сними...

Боец расстегнул замки, заглянул в портфель. Порылся. Вынул пачку белых листов, исписанных чернилами, за ней — толстую в два пальца книгу, на переплёт которой была надета клеёноччатая синяя обложка. Взял листочек из пачки принялся скручивать трубочку.

— Нет, нет! — потребовал хрипло Серафим. — Это нельзя.

— И задыхаясь, пояснил: — Это отчёты о политзанятиях... Их надо сдать в политотдел обязательно.

— А как быть? — спросил боец. — Греться надо. А до политотдела ещё идти и идти.

— А по-другому нельзя?

— Сыро кругом. Дождь здесь был третьего дня.

— Из книги рви, — тяжело прохрипел Серафим.

— Жалко, — сказал боец. — Книга ведь.

Но комиссар молчал, глядя закрытыми глазами в серое сентябрьское небо.

Боец раскрыл обложку и вырвал несколько страниц. Свернул вырванные бумажки трубочкой, поджог одну и подложил под кучу ломаного хвороста. Первая трубочка сгорела, не оставив огня. Боец успел поджечь от неё вторую. Огонь побежал по тоненьким веточкам, не желая гореть. Но подталкиваемый горячими языками третьей трубочки, занырнул внутрь костровой кладки и вылетел наружу мощными красными языками.

Боец достал из своего мешка котелок. Подошёл к озерцу, зачерпнул воду. Повесил над огнём. Принялся ломать на маленькие кусочки зелёные веточки, которые собирал, пока шли. Когда вода закипела, он бросил эти зелёные кусочки в котелок. Подождал, пока закипит. Потом снял с огня покрасневшее варево, отставил в сторону.

Подхватил с земли лопатку и ушёл в лес.

Серафим нащупал в кармане шинели папиросу. На коленях подполз к костру и, вставив в губы бумажный мундштук, наклонился над огнём. Жара обожгла лицо. После этого ему стало вдруг легче дышать. Он затянулся дымом папиросы, стоя на коленях. Но после третьей затяжки кто-то изнутри схватил горло железной хваткой.

Боец вернулся через полчаса, волоча за собой большие сосновые ветви и еловый лапник. Ушёл снова. Принёс огромную охапку дров.

— Товарищ комиссар, — позвал он. — Давай будем хворь выгонять.

Он поднёс к лицу комиссара котелок. И приказал:

— Держите крепко. Уже не горячее.

Серафим открыл глаза, и в серой темени раннего вечера не мог разобрать, что пьёт. Видел перед своим лицом чёрную жидкость. От неё шло тепло.

— Пей, — сказал боец.

— Это чего? — боязно прохрипел Серафим.

— Навар. От всякой нечести. У нас малинухой зовётся... Только не шибко быстро пейте... Не обожгите горло. А я постелицу излажу. Пропечься до костей надо обязательно. А уж через неделю пойдём...

Серафим обхватил ладонями тёплые стенки котелка, отпил глоток. Горячая, пахнувшая малиной, вода, застряв в горле, обожгла, а потом, миновав какие-то препоны, проскользнула внутрь груди. После пяти-шести глотков стало легче дышать...

Боец возился поодаль от костра.

Он отрыл узкую неглубокую яму в три штыка, длиной метра два. Набросал на дно сухих толстых сучьев. Снова вырвал из книги несколько листов. Раздул уголёк из костра, поджог бумажную трубочку.

Костёр запыхал, выбрасывая к небу яркие, горячие языки пламени. Боец бросал в него сучья.

Сходил в лес, принёс новую охапку дров. Свалил её целиком в огонь. Пока возился с огнищем, украдкой поглядывал на комиссара.

А тот сидел под сосной, и был похож на зайца, ухватившего передними лапами долгожданную еду.

Боец дождался, пока прогорят дрова в костре ямы. Разостлал толстым слоем угли. Засыпал песком. Подошёл к комиссару и поднял его.

— Пойдём, — сказал он.

Серафим не сопротивлялся. Переставлял ноги с большим трудом, стараясь не упасть.

— Ложись! — приказал боец. Усадил комиссара на уже успевший прогреться песок. Снял с него португую, шинель.

— Ложись, не бойсь. — Подложил под голову портфель. — Лежите на спине. — Укрыл шинелью. Подгрёб песок под бока. — Когда станет жарко — повернитесь на живот. — Привалил комиссара еловым лапником. — Надо греться.



— А сколько времени?

— Часов у меня нет. А если по солнцу — часов семь на вечер... Может, восемь. Скоро совсем стемнет.

— Глянь часы у меня в портфеле, — попросил Серафим.

— Мне не за чем. Я и так время знаю.

Серафим сквозь полуприкрытые глаза видел, как боец разбирает его портупею. Отстегнул шлейки, обмотал ремнём кобуру с пистолетом и подsunул под бок, накрыв шинелью.

Тепло от земли быстро пробрало всё тело. Серафим не реагировал на действия бойца. Наслаждался теплом. Першение исчезло. Он заснул...

\* \* \*

На тёмном засоренном небе не было ни звёздочки. И оно самое виднелось только сквозь большие дыры в сосновых кронах. Серафим повернул голову вправо и увидел бойца. Тот сидел на вязанке хвороста и ел, хлебная ложкой что-то из котелка.

Горел маленький костерок.

— Крепко спите, товарищ комиссар, — сказал боец. — Это хорошо. Сейчас будете пить малинуху... и снова спать.

— Тебя как зовут? — спросил Серафим.

— Я Порфирий. Мы — из Старых.

— А почему не из молодых? — попробовал пошутить Серафим.

— У нас в деревне четыре больших фамилии... — Мы — Старых, в центре деревни. В Залесьи — Белых...

Он поднялся, пошёл к воде. Было слышно, как скребок ёрзает по металлу.

— А про Молодых почему знаш? — спросил Порфирий, вернувшись с котелком, полным воды. Навалил хворосту на огонь. Повесил котелок. — Откуда сам-то?

— Из Чёрной Дыры. Слыхал? Это в Караганде. Там шахты.

— Ненароком, золотишко рыли?

— Уголь.

— Знам... Отец Томарий рассказывал, что народ наш, деревенской, к вам на шахты отвезли.

— По оргнабору?

— После колхозов. Как колхоз поставили, так всех и вывезли, как врагов. Всех Маленьких вместе с Кривых... Вот только Молодых оставили и Холмских. И ещё кого-то...

— А тебя почему не вывезли?

— Нам и в тайге хорошо, — ответил Порфирий.

— Выходит, вы от власти сбежали, — сказал Серафим.

— Нам бегат не по роду, — заявил боец. Пламя в костре

вспыхнуло вдруг и осветило его лицо, сосредоточенное, замысловато-тревожное. — Мы вместе с Белых в тайгу ушли. Собрали весь скот, жнейки да плуги... и ушли. Три дня ехали.

— От советской власти драпали?

— Твоя правда. Но не драпали, а на вольное место уехали, чтобы своей жизнью жить.

— Это как же? Все социализм строят, а вы — по-своему? И за вами не послали «чон»?\* — выдавил из себя хрипкое сомнение Серафим.

— Может, и посылали какой чон-звон... Да он, этот звон до нас не долетат... Очень далеко... Умному всегда не хватает ума, а у дурака его — тьма... — засмеялся Порфирий. — До нас твоему звону не достать... Отец Томарий в последние телеги велел самых крепких мужиков посадить. И двух волов привязать. Как удобно место проходили, три-четыре кедрача валили, волами один на один натаскивали. Оставляли только проход, чтобы под седлом коньком скакнуть не быстро... А твои «звонцы» — чужие люди у нас. Не знат, как в завалах дорогу-то ищат. Безбожники потому как... — Порфирий вдруг заговорил тихо. — Наши мужики хотели даже церковь разобрать и с собой увезть, чтоб нову-то не ставить. Но отец Томарий не позволил».

— Странное какое-то имя... Томарий. Что за поп такой, — спросил Серафим, — что всеми командует?

— Бабушка, царствие ей небесно, — Порфирий занёс два пальца ко лбу. На секунду застыл, не решая, продолжать ли при комиссаре. Затем быстрыми движениями озарил себя знаменем три раза, — говаривала, что его к нам из самой Москвы прислали...

— Поп — инструктор райкома, — рассмеялся хрипом Серафим, — что его из Москвы присылать?

— Он из рогожских. А рогожские — у нас главные ещё от протопопа Аввакума. Это, как у вас, которые за красной стеной живут... Так вот, отец Томарий не позволил церковь разбирать. Сказал, что мы скоро вернёмся, а храм пушай своим видом напоминат о праведности жизни неправедным и бесчестным, которые у нас из Молодых и Холмских... Давай, товарищ комиссар, поднимайся. Будешь малинуху пить перед ночью. Один котелок утром, другой — в вечеру. А я пока те нову постелицу излажу».

Боец встал на колени. И быстрыми ловкими движениями

---

\* ЧОН — части особого назначения, специально сформированные из комсомольских активистов-добровольцев во главе с сотрудниками ОГПУ для подавления бунтов крестьян, не принимавших коллективизацию.

рук, словно енот, принялся рыть песок. Отрыл траншейку. Набросал на дно угольков из костра, раздул огонь и взялся выкладывать кострище, ставя толстые вложены пирамидой. Огонь с жадностью хватал сухие палки, подбрасывая к небу длинные языки пламени. Воздух вокруг костра зажёгся. Стал припекать.

Серафим сбросил с плеч шинель.

– А ну, одень! – приказал Порфирий.

– Жарко.

– Для ты сейчас пар – спасение. И не смей раздеваться...

Сходи по нужде.

Серафим подчинился. Оставил котелок и ушёл в темноту. Оттуда долетели звуки хриплого кашля. Вернулся. Уселся на кучу хвороста и подставил спину огню.

– Повернись лицом. Горячим дыши, – потребовал Порфирий. Снял с огня котелок и поставил перед комиссаром. – Пей... и ложись.

– Нам бы в деревню, – сказал Серафим, дуя на горячую воду в котелке. – Обстановку разузнать. С товарищами из актива поговорить. Активисты обязаны знать положение на фронте.

– Ты, товарищ комиссар, как весенняя квочка, – сказал Порфирий. – Всё про своих цыплят... Так она без мозгов. Считат не умет... Если к осени один курчонок останется – она и счастлива. А те до осени ещё дожить надо.

– Ты про что?

– Про деревню.

Боец разгрёб угли костра. Навалил песок и приказал:

– Ложись, товарищ комиссар. Сейчас те боле всех забот тепло нужно. Даст Бог, выдюжаш.

\* \* \*

Утреннее сентябрьское солнце заставило небо порозоветь. Редкие белые облака, гонимые ветром, быстро уносились куда-то. И складывалось впечатление, что они специально убегают, точно хотят, чтобы больше небесного тепла и света досталось земле.

Серафим попробовал подняться. Сбросил с себя лапник, отбросил шинель.

Горел костёр. Над огнём на длинной жерди висели портянки, рубашка и подштанники. Рядом на таком же шесте – гимнастерка и штаны. От озерца долетали хлопающие звуки, точно у берега плескались выдры.

«Порфирий!» – позвал он.

От озерца поднялся голый парень с ольховым веником в

руке — крепкие покатые плечи, толстые жилистые руки и широченная грудь были посажены на длинные волосатые ноги.

— Любит тя Господь, товарищ комиссар, — сказал боец радостно. — Живой... Полежи чуток. Я сварю попить.

— Ты моешься в такой холод? — с удивлением спросил Серафим.

— Мы привычные.

— У тебя мыло есть? — радостно засипел комиссар.

— Как без мыла-то? Человек должен быть сыт и опрятен.

Не знаю, как на твоей шахте, товарищ комиссар, а в нашей деревне не дозволялось не мыться реже одного разу в неделю. А то и два. Уж если кто в баню не ходил — значит, хворь какая не пуцат. Господь таких прощал.

Он укутался шинелью, уселся на кучу хвороста, подставив огню голые ноги. Принялся мелко ломать молодые побеги малины.

— Ты где их берёшь? — спросил Серафим, поднимаясь с земли.

— Вона, вокруг растёт. Сходи по делу. За одно... нарви. Только не шибко долго ходи. Тебе нельзя на холоде много.

Серафим вернулся, неся несколько веток. Он громко кашлял. Но кашель был не сухой и резкий, а мягкий, словно смазанный маслом.

Порфирий был одет. Он возился у костра. Увидев в руках комиссара ветки, отобрал, и, положил рядом с собой. Уловив, когда тот отвернётся, бросил их в огонь.

— Жалко, что у нас нет здесь супоньки, — сказал боец улыбаясь.

— Помылся и к девкам потянуло? — спросил Серафим, садясь на кучу хвороста.

— Почему ты про девок вдруг?

— Ты сам говоришь — Супоньку, Марфушку...

— Я про белок. Поймали бы супонной петлёй. Очень с пользой сварили. — Порфирий вдруг посмотрел недовольно на комиссара и спросил, точно вспомнил что-то важное: — Ты, товарищ комиссар, про гуж знаш чего?

— А это чего такое?

— А про шлею?

— Это, которая под хвост попадает? — засмеялся Серафим.

— Попадают иногда, — сказал боец с задумчивой многозначительностью. — Ты посиди, товарищ комиссар. Я доварю себе суп с опятами. А потом тебе малинуху запарю. А была бы тоненька супонечка... сейчас бы белок наловили... Суп из них в самый раз я бы поел. А без супоньки не поймаш.

— Почему только себе суп?

— Те нельзя ещё дня три. А уж потом накормлю. — Порфирий помешал ложкой варево в котелке, который кипел над огнём. — Укройся шинелькой, товарищ комиссар, пока. Полежи. Те нельзя замёрзнуть. Замерзнешь сейчас — и Господь не спасёт.

— Послушай, Порфирий... — недовольно сказал Серафим, укрываясь. — Тебе не надоел твой Господь за каждым словом? Без Бога шагу не ступишь! Ты и в кусты без него не ходишь, небось?... Как это ты с этим дурацким Господом в Красной армии оказался? Кто тебя вообще в нашу армию взял такого богомола? Политинформации как будто вам и не читали.

Боец не ответил. Снял с огня котелок. Поставил на землю. Подтянул поближе шинель, уселся и, наклонившись над котелком, зачерпнул ложкой еду. Долго дул на парящую жидкость. Попробовал и, продолжая дуть, сказал:

— Обманом меня забрили в вашу армию... Фу-у-у... Обманом. Уж два года.

— В Красную армию парни с радостью идут! А ты про обман какой-то.

— Верно говоришь. Из Холмских десять человек пошли... чтоб с голоду не помереть после колхоза... Фу-у-у... И из Молодых много... А в армию нужно ходить, когда за Бога, царя и отечество нужно биться с супостатом...

— Слава Богу, сейчас нет Бога! — воскликнул Серафим — Только царь и отечество.

— Что для ты Бога нет — Бог простит, — заметил Порфирий. — А вот где ты вдруг взял царя?

— Советская власть скинула твоего царя. Она вместо него теперь! — уверенно захрипел Серафим и закашлялся.

— У нас все Старых за Бога и отечество воевали... А вот я глядел. И понял... Бегит народец по домам от войны... Не его война пока. Не хочет...

— Заставим воевать! — нервно буркнул Серафим, ворочаясь на ещё тёплом песке.

— Обманом ни одно дело порядочно не вытанцовываются, — сказал Порфирий, точно убеждал кого-то. — А война — творение душ... Вот я тя тут брошу... И заставляй.

Он жадно ел. Выскребая остатки со дна котелка, сказал:

— Не возьми меня в солдаты обманом, я бы сам пошёл родину от супостата защищать... Думаю, из наших... Старых и Белых... которые с отцом Томарием пошли в тайгу, уже много записались воевать... когда войну кликнули.

— Думать можно всё, что угодно, — с сомнением сказал

Серафим. — Кто поверит в ваше кулацкое нутро? Вы же ненавидите советскую власть. Набрали таких... Потому и отступаем!.. В армию обманом!? Это же надо такое плести! В самую любимую Красную армию обманом!

Боец не обратил внимания на слова комиссара и продолжал:

— Отец Томарий захворал... Мать послала в деревню за доктором... Он в нашей деревне всегда жил... При Колчаке, когда я мальцом был — лечил. И при ваших — тоже. Но с нами не поехал в тайгу... Сослался, что надо всех лечить, а не только наших... Звал приезжать, если какая хворь прилипнет... Вот, мать и приказала двух лошадей под сёдла... чтобы доктора привезть для отца Томария... Я приехал... Объяснил... Доктор уж было собрался. А его сын в твоей власти начальником. Увидел меня, и сразу в кутузку упрятал. И пригрозил: «Пойдешь в армию. А иначе — расстрелям»... Доктор просил сына... А я ещё и слёзно обещал привезть доктора обратно... Перед портретом Сталина, как перед иконой присягал... Не помогло... Вот, и обман...»

Порфирий закончил есть, ушёл к озерцу, долго возился с котелком, вымывая. Вернулся с водой. Повесил над огнём. Подбросил в костерок сушняк.

— А кто доктора к твоему Тамарию возил? — неожиданно спросил Серафим. — Сын и возил?

— Никто, — недовольно ответил Порфирий. — Дорогу только я знал... Сейчас тебя кормить начну, товарищ комиссар.

— Надоела эта вода!, — огрызнулся Серафим.

— Те пока разносолов нельзя... если выдюжать хош. А ну подымись на раз... — Порфирий шагнул к Серафиму, взялся за его подбородок. — Открой рот, товарищ комиссар. Полгляжу... — Долго высматривал что-то во рту. И с сожалением сказал: — Боюсь, за неделю не управимся... А сидеть тут нельзя... Надо идтить — лес здесь глупый... Сырой и тёмный. Одни опята перестоявшие попадают. Никакого записного гриба не видать. Ни тебе боровика, ни маслёнка... А место больно хорошее мы с тобой нашли... Тут и дом для семьи поставить не грех — сосны да песочек. И вода чиста. Другого такого можно и не сыскать в округе... — Отпустил подбородок.

Набрал в котелок мелко ломаные побеги малины. Повесил кипятиться. И заметил:

— Не совсем хорошо твоё дело, товарищ комиссар. Пока нарывы ещё. Где это ты так угораздило простудиться, не

возьму в толк? Вроде, и в окопе не сидишь, грязь не месишь... Всё больше бумажки после боя читаешь, тем, кто живой остался... И кормят вашего брата, как рачительный хозяин корову доит — каждый день и три раза...

Когда варево закипело, Порфирий торопливо снял его с шеста. Отнёс к воде. Вернулся и поставил перед Серафимом.

— Пей, товарищ комиссар. А я пойду за сушняком, — сказал боец. Взял шлеи портупей.

— Ты это чего делаешь!? — Серафим нервно дёрнулся.

— Супонь из твоих вожжей сделал. Тебе нужно много дров... А мне — чтоб лишнее не ходить.... Правда, маловата шлея. Да Бог на это не обижатся... А ты пей. — Поднял лопатку и пошёл в лес.

— А пистолет мой где!? — крикнул вслед Серафим, и закашлялся.

— В постелице поищи...

Он вернулся, неся за спиной огромную вязанку дров.

Серафим допивал ещё тёплую малинуху. Увидев Порфирия, сказал:

— Мне бы в деревню сходить. Обстановку надо разузнать. Положение на фронте...

— У тебя, товарищ комиссар, жена есть? — спросил боец.

— Есть.

— Вот про неё и думай. В горячей постелице не про деревню думать надо, а про жену. Она у тебя красивая?

— Очень.

— И у меня красавица. Глаза голубы, что мокра лазурька. И девчонки наши с её глазами... А вот Аввакум весь в меня. Голова кругла, волосы, что стерня после косовицы, только чёрны. И глаза, как у соболя.... Я их всё перед собой вижу... Иду и вижу. — Боец взялся за сушняк, принялся ломать и выкладывать пирамиду. — Те бы, товарищ комиссар, про себя подумать, если про жену не хош... Бог на гнилой нитке тебя держит, а ты про власть, да про власть печёшься. Какая в лесу власть?

— Тогда зачем со мной идёшь!? Иди к своим буржуям-фашистам!

— Хотя ты — сорочье племя, а бросать Бог не велит. — Порфирий перебрал из костерка несколько угольков. Достал бумажки, свернул трубочкой, приложил к углям и принялся раздувать.

— А чего же велит тебе твой дурацкий Бог? — недовольно спросил Серафим.

— Тебя от смерти спасти.

— А ты не спасай. Сам выберусь.

Пирамида горела споро. Боец подбрасывал поленица. Они, попадая в огонь, быстро обгорали, образуя длинные чёрные уголья.

— Я же говорю — ты сорочье племя, — сказал он. — Бросить тебя, значит, на смерть оставить. А это — грех на душу взять. И выйдет перед Богом — я убивец. А убивца всегда только тот, кому в душу бес вселился. А в меня бес вселиться не может.

— Почему? Бесы всякие — как раз твои попы... — заявил Серафим.

— Господь первым узрел, что бесы в свиней переселяются, — сказал Порфирий. — А я — не свинья... Он на горе стоял, людям истины говорил... И бесы от Его слов из людей бежали и в свиней переселялись... И ещё скажу тебе, товарищ комиссар... Ты, должно, человек не плохой, коль Господь мне приказал около ты сидеть.

— Что за глупость — Господь приказал? — насмешливо спросил Серафим. — Ты скажи ещё — в ухо шепнул.

Боец разгрёб кострище. Навалил на него слой песка.

— Что шепнул — ты угадал, — сказал он, стоя на коленях, утрамбовывая ладонями песок. — Ты ведь не знаш, что должен был под миной смертушку принять.

— Какой ещё миной?

— Помнишь, как обстрел начался? Ты голову в землю зарыл в нашем окопе. И я глаза закрыл... А Он мне и шепнул: «Уходи, Порфирия, с этого места...» Я тя за шиворот взял, как ты командир... Помнишь?

— Помню... И чего?

— Оттянул тя на десяток шагов... А в то место, где твоя голова в глину урылась, мина точнёхонько и угодила... Вот и выходит, что Бог и про ты думат, хоть ты и... — Отряхнул руки и приказал:

— Иди, ложись, товарищ комиссар».

— Где моя портупея? — спросил Серафим, усаживаясь на уже тёплый песок.

Боец отдал ремешки.

— А где твоя винтовка? — Комиссар подложил на новой постели под голову кобуру с пистолетом, накрыл портфелем.

— Зачем человеку тяжесть бесполезну на себе носить? Патронов нет. Да и были бы — в кого стрелять? Немец в лес не пойдёт... — Порфирий накрыл комиссара шинелью.

— Придём... У тебя про винтовку спросят... «Куда девал?» Что скажешь?

— Я товарища комиссара от мины собой накрыл... —



Подоткнул ему полы под бока, загрёб песком, навалил сверху еловый лапник. — А она винтовку в щепки... Зато комиссар жив и протоколы целёхоньки... Вечером переберёшься на старо место. А утром оглядим... любит тя Господь иль нет...

Серафим чувствовал, как его тело пропитывалось теплом от земли. Оно становилось всё жарче. Казалось, что ещё миг, и он растворится в горячем воздухе...

— Ты полежи... А я в деревню скакну, — сказал боец.

— Нам бы вдвоём, — взмолился комиссар.

Боец не обратил внимания. Надел шинель, поднял мешок, пилотку и скрылся в лесу.

Вернулся он затемно.

— Ты живой, товарищ комиссар? — спросил, бросая на землю вещмешок.

— Чего узнал? — хрипя, спросил Серафим. — Чего актив говорит? Где немец?

— Мужики сказали — был. И побёг далей.

— А про наших чего сказали?

— Бредут... Как мы... Хлеб просят. Ночуют и уходят.

Порфирий принялся разжигать костёр под котелком. Свернул бумажные трубочки. Порылся в догорающем костерке. Выкатил большой уголёк. Принялся раздувать. Тот нехотя покраснел, а потом зарделся светлячками. Приложил бумажку и крепко подул. Пламя вспыхнуло.

— Готовься, товарищ комиссар. Будем сейчас лекарству варить и постелицу горячу ладить...

\* \* \*

Порфирий растолкал комиссара.

— Пора. Уж день давно. Раздевайся и перебирайся на нову постелицу. Уж приготовил.

— Раздеваться зачем? — Серафим продолжал спать.

— У меня вчерась была баня. У тя — сегодня... Я твоё бельишко отоблю... А то не дай Бог, гнида заведётся... И горло покажи.

Долго смотрел в рот комиссару и в тяжком раздумии жевал свои губы.

— Сходи по нужде. Попей и быстро раздевайся. — Приложил ладонь ко лбу. — Плохи дела... Помогат малинуха, но не сильно... Надобно ещё разок в деревню...

Серафим голый улегся на шинель. Порфирий укрыл его своей. Собрал в охапку бельё комиссара и пошёл к воде.

От озера долетало полоскание выдр...

Боец вернулся от воды, повесил на шесты бельё и форму. Развёл под ними костёр.

— Тя бы помыть... Да вода холодна... А голову сейчас обязательно... чтоб гниду известь на корню.

Принёс котелок с водой. Забурил в угли. Через полчаса приказал:

— Становись на колени и закрой глаза. Будем воду экономить.

Комиссар выбрался из-под шинели, опустился у костра на четвереньки.

Порфирий плеснул теплую воду на голову и принялся намыливать. Растёр руками мыло по волосам. Промыл тёплой водой.

Серафим морщил лоб и нос, пытаясь избавиться от едкого запаха мыла.

— Вот теперь ты на человека похож, — сказал боец. — Ложись. Подожди ноги и укройся с головой. Надо, чтобы волосы просохли быстрее. А то мне шинелька нужна. В деревню схожу.

Подошёл к костру и подбросил сушняк.

Часа через два Порфирий заставил комиссара одеться. Уложил на горячий песок и укрыв. Навалил сверху лапник.

— Лежи тихо, товарищ комиссар. — Надел шинель. Переложил что-то из противогазной сумки в вещмешок. — Те сейчас из-под шинели нельзя высовываться.

— Ты не забудь активистов поискать, — попросил Серафим. — И табаку попроси. Мужики все самосад растят.

— Обязательно, — согласился Порфирий.

Затянул ремень, подоткнул пилотку у левого бока, забросил сумку за спину и пошёл.

\* \* \*

Серафим долго лежал, глядя в небо. Когда изнутри рвалось першение, закрывал ладонями рот, стараясь унять кашель.

— Скорее бы к своим, — думал он. — Там аспирина есть. Уже было такое у меня. Татьяна лечила... — Он вспомнил, что валялся три недели, изводимый жаром и болью в горле. Жена выхаживала, заставляя пить какие-то порошки. Три раза на день заглядывала в рот. Даже лекции пропускала, боясь оставить мужа одного. — Скорее бы... И этот со своим Богом надоел... Спрошу: «А немец вероломно пошёл двадцать второго тоже с благословения Бога?» — Эта счастливая мысль обрадовала. Он улыбнулся, представляя, как боец будет путаться в словах, отыскивая ответ. — А ведь и в партию мог пробраться... Повезло мне. С виду мужик крестьянский... Хорошо, что в кандидаты не подавал

заявление... Я бы подписал... Сразу не разберешь... А в политотделе обязательно выяснили — враг... Не открутился бы... что не заметил, прозевал... Если будет подавать заявление в кандидаты... Я припомню...»

Лес зашумел. Кто-то большой ломал с хрустом ветки...

На мысок вышел серо-рыжий лось с огромными рогами, похожими на растопыренные ладони. Спустился к воде. Долго пил. Когда вернулся, остановился и, пригнувшись, внимательно стал смотреть на кучу лапника, под которым лежал человек. Вид у зверя был недовольный, грозный. Серафим испугался. Принялся шарить рукой по песку в поисках кобуры. Неуклюже повернулся. Лапник съехал с шинели. Лось в одно мгновение сорвался и галопом умчался.

«Слава Богу, — сказал себе Серафим. Выбрался из-под шинели. Взял пояс с кобурой. Расстегнул её и уложил на ещё горячий песок.

Лежал, нервно реагируя даже на шум сосновых крон.

Но как пришёл Порфирий, не услышал.

Боец, увидев в руке Серафима пистолет, спросил:

— Кого убивать собрался, товарищ комиссар?

— Корова горбатая с рогами приходила.

— Хороша примета. Лось чужака за две версты чует. Ты тихо лежал.

— Чего в деревне узнал? — спросил комиссар. — Что там мужики говорят? — Поднялся. Накинул на плечи шинель.

— Немец сегодня к вечеру на постой определятся.

Боец сбросил сумку, шинель. Принялся делать новое лежбище для комиссара — выложил пирамиду. Вынул из вещмешка листочки. Свернул трубочкой и поджог.

— А где наши?

— Кто знает? — лениво ответил боец, явно обеспокоенный своими мыслями.

— Так что ты всё-таки разузнал? — строго спросил Серафим.

— У нашего мужика семь пятниц на неделе, — сказал Порфирий. — Он буровит. А оттого опасен... Особенно, когда кругом все стрелят.

— До деревни далеко?

— Вёрст двенадцать... Я тебе лекарство принёс.

— Аспирин?

— Мёд. И ещё хлеба отрезали и три луковицы дали. И щепотку соли. Сейчас две ложки мёду съешь, — сказал боец, принимаясь зажигать костер под котелком. — А потом малинухой запьёшь. Должно отпустить.

— Это я должен был сходить в деревню, — прохрипел

Серафим, недовольный пустым рассказом Порфирия.

— Что же ты всё про деревню, как вшивый про баню? Вот уж кому... А те, мил человек, в деревню нос совать сейчас совсем нельзя.

— С чего это?

— Мужики, вона, меня без особой радости встретили... А ты судить-рядить не станут... Сегодня всё припомнят в один миг.

— Что значит — припомнят? Кому припомнят?! Мне за что припомнят!? — крикнул комиссар, словно отбивался от незаслуженной обиды. От этого крика он закашлялся. Стал тяжело дышать, волнуясь. Если до этого он просто с подозрением относился к Порфирию, то сейчас подозрение вдруг переродилась в ненависть, которая закипела в душе. Он чувствовал, что за словом «припомнят» прячется всё отношение бойца к нему.

А Порфирий даже не отреагировал на крик комиссара. Достал из сумки железную баночку из-под консервов, ложку и протянул Серафиму.

— Ешь, — сказал он. — Мёд... Но только две ложки. Первую поддержи в горле, не глотай. А вторую — когда малинуху выпьешь. И тоже поддержи... Если на пустой желудок меду много взять... Истошишься... Каждый подкуст твоим будет... — И словно решив успокоить командира, добавил доверительно: — Давай поедим и ночевать начнем. Боюсь, нужно будет рано утром сниматься... — И объяснил: — Мужики недобро приняли меня, когда второй раз увидели.

Ночь быстро накатила. Лес умял темноту до черноты. Исчезли даже несколько смелых звёзд с неба. Вокруг установилась вязкая, неприятная тишина. Малейший шорох загулявшей мыши или случайный перелёт совы пугали. И в этом неподвижном воздухе с разных сторон вдруг стали долетать звуки, похожие на призывное гудение нелепых труб. Они были то длинными, то резко короткими.

— Это чего? — с опаской спросил Серафим, всё ещё продолжая тяжело дышать, не имея сил унять себя.

— Слышу — немец в деревню на постой становится. И уж давно идёт.

— Ты в своём уме? — нервно сказал комиссар и начал ворочаться под шинелью. Слова о волках снова подогрели в его душе неприязнь к бойцу. — И гудят, что те собаки? Где — деревня? А где — мы!?

— Идут по той дороге, которую мы позавчера перешли. И много их... Волки режут. Переговариваются... Ты спи...

— Разве здесь могут быть волки? — с детской наивностью спросил Серафим, сдерживая раздражение.

— Они везде есть... Нужно слушать. Расскажут... И нам с тобой, товарищ комиссар, хоть какая от них польза...

— Ты табак принёс? — вдруг спросил комиссар.

Не разговаривайте. Воздух холодный.

\* \* \*

В ночи поднялся лёгкий ветерок. Он шумел не долго: разогнал тучи, выкатил в зенит полную луну и умёлся. А луна в окружении малой россыпи звёзд холодно взирала на землю. Мысок у полыньи побелел. Стволы сосен были видны ясно и чётко, а за ними дальние заросли малины и ежевики. Кусты отступили, чтобы двоим людям было вольней ночевать. Волчьи разговоры прекратились. Из глубины леса изредка долетало чьё-то недовольное, слабое, немощное уханье. И было понятно, что тот, кто пугал или звал на помощь, был где-то далеко-далеко.

Порфирий лежал на теплом песке, смотрел на дотлевающие угли костра и настороженно вслушивался в немоту леса.

И вдруг эту тишину разорвала далёкая волчья песня. Протяжная, заунывная и долгая. Она не звала, а будила, будоражила. Ей ответил короткий вой другого волка. Но этот был где-то рядом, близко. И по краткости ответа было понятно, что этот, второй, не очень взволнован и обеспокоен.

Боец поднялся. Неторопливо снял с костровой перекладки котелок, бросил его в вещмешок. Задёрнул на горле мешка шлейки. Уложил банку меда в сумку.

— Товарищ комиссар! — Порфирий сбросил со спящего командира лапник. — Вставай быстрее!

Серафим подскочил. Сидя, принялся вертеть головой по сторонам и лихорадочно искать рукой кобуру.

— Что случилось?! — Выхватил оружие из-под портфеля.

— К нам идут.

— Кто?

— Не знаю. Собираемся. Чую — по наши души... Застегнитесь покрепче. Тряпочка какая найдётся?

— Зачем?

— Рот закрывать. Чтобы не кашлять...

Серафим суетно застегнул шинель, навесил портупею. Вынул «ТТ», щёлкнул, взводя боёк. Поднял с земли портфель.

Порфирий повесил на плечи лопатку, надел и застегнул шинель, повесил за спины мешок, следом — противогазную увесистую сумку.

— Пошли! — приказал он.

— Куда?

Но вместо ответа совсем близко запел протяжную песню волчий голос.

— Сейчас уже — куда успеем, — с волнением прошептал боец и пошёл к озерцу. Сделав небольшой круг, присел в осоке. — Вот тут и переждём. Сюда не сунутся.

— Почему?

— Тут сыровато... — И тихо приказал: — Выкинь ты свой портфель, наконец... Держи рот руками, теплом дыши. Не доведи, кашлять зачнёшь...

На поляну вышли трое. В картузах и ватниках. У двоих за плечами отчётливо рисовались винтовки. Они постояли, разглядывая мысок.

— С чего ты взял, что здесь генерал прячется? — спросил молоденький голос, обегая лежбища. Присел. Потрогал песок. — Ещё горячее.

— Солдат в первый день хлеб просил и что дадут, — с авторитетной рассудительностью сказал низкий хриплый голос и принялся кашлять махорочным кашлем. — Если сам — поешь, попей и иди с миром... А ведь припёрся на другой день... Дай ему мёд и выпивку. А коль мёд да выпивка — тут птица важная прячется... Не просто генерал, а самый что ни есть генеральский полковник... И сам денщик-посыльный уж больно чистенький. Все, кто отступают, попрошайничают, грязные, как августовские свиньи. А этот точно только-только от капитанармуса вышел. Правда не бритый. Так это как кому нравится ноне.

— Ты дал мед и самогон?

— А чего не дать. Он бы к другому пошёл. Не для себя старался. Для генерала. К Герасиму заглянул бы обязательно... Тот сразу бы догадался про это место. Раньше нас припёрся бы.

— А что они именно здесь?

— Воды не просил денщик. Значит у воды и разлеглись... А у нас только в этом месте ключевая вода... Если бы один был — самогон бы выпил сам. Ан нет, для генерала припас. Я не пожалел. Литровый штофчик первача налил. Который крепко горит... Возьмут на голодный желудок и будут пьяные валяться... а мы тут как тут... Опоздали.

— Жаль... — сказал третий и зачем-то принялся ворочать еловый лапник. — Говорил — надо было с вечера на них.

— Да, жалко, — сокрушённо согласился прокуренный голос. — А то бы мы за этого генералишку от новой власти чегось и получили бы...

— А чего у них просить? — спросил с любопытством молодой голос.

— Кто знает?.. — Хрипун помолчал и добавил. — От своих ничего путного не получили. В печенках сидят... Поглядим, чего новая власть посулит. Если начнет стрелять, как свои — погоним к чертям собачьим с Божьей помощью.

— Я ему махорки отсыпал... — сказал третий. И уверенно добавил: — А сам он не курил...

— С чего взял? — спросил молодой.

— Когда махру просят, то и газетку к ней... А этот к махре только спички просил.

— А ты и дал! — засмеялся громко молодой.

— Хрен поперёк горла им, а не спички!

— Не похоже, чтоб тут курили, — сказал, откашливаясь, хрипун. — Твой самосад долго смердит... Закурим сейчас — до утра держаться будет... Знать, не много их было.

— Может, поищем! — предложил молодой. — Споймаем.

— Вот ты и давай, — заметил прокуренный голос. — Утром приведёшь... Тебя наградят...

Стояли, ладя в лунном свете самокрутки. У одного в руках вспыхнула спичка. Прикурили. По поляне разошёлся резкий запах самосада.

Покурили и исчезли в темноте.

Ближний волчий голос забеспокоился длинной песней, провожая ночных ходоков. Ему ответил далёкий коротко.

— Странные люди — сказал тихо Серафим, когда всё успокоилось. — Мы им зачем?

— Охотники, — загадочно пояснил боец.

— На кого можно охотиться среди ночи?

— Слыхал ведь... На генерала, — ответил Порфирий. — Подтолкнул в спину комиссара. — На меня и на тя... Пошли.

— Может, останемся до утра? — предложил Серафим. Ему совсем не хотелось уходить от тёплой постели. — Брести по ночи — ноги сломать недолго.

Но Порфирий промолчал. Вышел к лежбищу и шагнул — в темноту.

Серафим побрёл следом, вдыхая с жадностью аромат ядрёного самосада, сжимая ладонью губы, чтобы не кашлять.

Догнал бойца и спросил:

— А почему про нас не воют?

— К нам привыкли уж. Другие, которые далёко впереди, про нас ещё скажут...

\* \* \*

День угасал. Солнца, что пряталось за плотными, серыми

тучами, не было с утра. И к вечеру не появилось.

Порфирий молча шагал, минуя завалы, выбирая чуть приметные, проросшие травой, тропинки. Изредка наклонялся. Поднимал гриб, разглядывал. Какой-то прятал в карман шинели, другие чаще выбрасывал.

Серафим шёл поодаль и тоже смотрел под ноги. Он понимал, что боец собирает грибы, чтобы сварить ужин. И ему хотелось хоть как-то поучаствовать в сборе, чтобы уменьшить зависимость от этого лесного человека. Его угнетал стыд за ту ненависть к бойцу, которая владела им минувшим вечером. Видя перед собой широкую спину, он болезненно осознал, что Порфирий бежал в деревню, чтобы добыть лекарство для него, и спас от скорой расправы — те трое не пощадили бы. Всем своим существом вдруг понял, что приходили не за генерал-полковником, а за ним. Хотелось подойти и извиниться, но что-то не позволяло это сделать. Чувствовал... — извинится и никогда уже не будет в глазах бойца командиром.

Принялся тоже срывать грибы. Находя какие-то, догонял Порфирия и показывал. Тот бросал быстрый взгляд и говорил: «Поганка».

Так повторялось раз десять.

И боец вдруг сказал:

— Не ищи, товарищ комиссар. Гриб глупости не прощат.

В какой-то момент Порфирий замер, осторожно присел и подбросил призывно руку. Серафим понял, что должен последовать его примеру. Метрах в двадцати впереди дорогу пересекло стадо диких кабанов. Когда прошли ещё метров сто, боец снова приказал присесть. Дорогу пересёк заяц, лениво прыгая. За ним — другой.

Порфирий долго стоял, о чём-то соображая. И вдруг нырнул в густой еловый молодняк.

Прошли по высокой траве и вышли к глубокой ложбине. Склоны её заросли невысокой худой травой.

Внизу виднелось пятно воды.

Порфирий осторожно ступил на край и заглянул вниз. Серафим подошёл и наступил на ветку, затянутую травой. Деревяшка с треском лопнула, и в это же время по склону в разные стороны бросились наутёк семейство кабанов и заяц.

— Кажись, пришли, — сказал боец. — Водопой.

Он прошёлся по урезу ложбины, что-то высматривая. Потом спустился на дно и оттуда крикнул:

— Товарищ комиссар, давай сюда!

В берегу были вырыты три небольшие пещеры. Между ними темнели следы костра.



Глядя на дырки в берегу, Серафим спросил:

– Партизаны?

– Живодёры, – объяснил Порфирий. – Тут водопой. Зверь приходит. Для хорошего охотника – свято место. На водопое зверя бить нельзя. Даже звери один другого не едят на водопое. А здешне зверьё только тут и пасутся с ружьём... Чего не делает зверь – добавлят живодёр.

Он снял шинель, бросил сверху сумку и мешок. Полез вверх по склону и исчез. Вернулся с большой охапкой сушняка.

– Сейчас начнём еду готовить... Ты разожги костерок, товарищ комиссар... А я за рогачами схожу. Те ещё постелицу горячу изладить надо. А ну, открой рот. – Заглянул. – Хорошо. Нарывов не видать. Можно будет грибы... Сымай портупею. Буду шлею делать. А ты костерок зачинай. Спички у меня в сумке. – И предупредил: – Только одну можно... Ну – две.

Взял лопатку, шлейки портупеи, ушёл в лес. Долетали редкие удары железа о стволы елей.

Серафим мелко наломал сушняк, положил палочки рядышком. Полез в сумку Порфирия за спичками. На дне лежала бутылка, заткнутая газетной пробкой. Под ней – пять картошек. Здесь же – нож в чёрном кожаном чехольчике. И много листов бумаги, вырванных из книги. В уголке прятался коробок спичек. Комиссар вынул квадратную бутылку. Выдернул пробку, понюхал содержимое – изнутри ударил едкий запах самогона. Долго смотрел на штоф, решая, что делать. Хотелось выпить. Оглянулся воровски на лес, куда ушел Порфирий. И продолжая смотреть, отхлебнул большой глоток. Самогон зажёг горло и грудь, заставив комиссара хватать воздух раскрытым ртом. Уняв горечь, он заткнул горлышко и вернул бутылку назад. Вынул несколько листочков, свернул трубочкой, поджог одну и приложил к поленице. Но огонь съел бумагу, не оставив даже следа на дровах. Серафим поджог вторую. Но и та сгорела. Когда взялся скручивать третью, появился Порфирий. Он нёс огромную вязанку хвороста.

Увидев, чем занимается комиссар, сбросил дрова, подсел к кострищу и, не говоря ни слова, переложил дровяницу, как укладывают стенки в колодцах. Наломал тонких сухих веточек, бросил их в колодец, зажёг бумажную трубочку и подсунул под кладку. Огонь весело шмыгнул внутрь и взялся жадно облизывать тоненькие палочки.

Всё Порфирий делал тоже молча: принёс воду, устроил

очаг. Достал две картошки, нож. Передал комиссару:

– Чисть. Только очень тонко. Чтобы меньше пропадало.

Серафим повертел большой розоватый клубень в руке и отрезал большой ломоть. За ним второй и третий. Порфирий увидел, вынул из рук комиссара картошку. Дочистил, срезая тонкую стружку, словно прошелся рубанком по тесине. Поднял с земли ломти. И аккуратно очистил их.

– Я не умею, – признался Серафим.

– Война – дело не скорое. Научишься. Сходи и вымой.

– Залез в карман шинели, достал две жмени опять. – И это заодно вымой.

В одной из пещерок Порфирий вырыл неглубокую, но длинную яму. Устроил кострище и поджог. Тоже сделал во второй. Взялся за картошку.

В котелке кипела вода.

– Посолим... – потирая руки, радостно заметил боец, – будет знатно. Что естся пресно – для того в животе тесно, а что с жирком и солью – места вволю.

От двух костров шла жара. Свет от них поднимался только вверх, оставляя весь окружающий лес в темноте.

– Хорошее место мы с тобой нашли, – сказал Серафим.

– Точно партизаны мы.

– Ничего хорошего, – возразил Порфирий. – Люди знат. Могут среди ночи придти. А нам деваться некуда... Пистолет далеко не прячь. Патронов много?

– Три.

– Это хорошо.

– Чего тут хорошего?

– Могло и вовсе не быть.

Ели, поочерёдно передавая друг другу ложку, заедая кусочками хлеба, хрустя луком. Суп вышел сладковатый и маслянистый.

– Послушай, Порфирий... – осторожно сказал Серафим.

– Те, которые трое приходили... Говорили... ты у них самогон просил.

– Просил.

– Зачем?

– Если дождь – костёр разжигать. Сивуха хорошо горит на мокром дереве.

Серафим помялся и попросил:

– Может, дашь.

– Если хош – пей.

– А ты? Мне одному не привычно.

– Вино – дело скверное. Да и пьяный человек думат не в ту сторону.

— И никогда не пил? — спросил весело Серафим. Запустил руку в сумку бойца и вынул гранёную бутылку.

— Нет.

— Нет-нет? — не веря, спросил комиссар и выдернул пробку.

— Тебе много нельзя, — сказал Порфирий. — Пьяный в горячке спит. Раскрываются. А те — это беда.

— Ничего... Я рад, что с тобой встретился. — Серафим вставил в рот горлышко и сделал три больших глотка. Дыхание его сбилось. Когда пришёл в себя, проглотил ещё два.

Боец вынул из рук комиссара штоф. Закрыв пробкой. Запратал в свой вещмешок.

Серафим стал торопливо заедать похлёбкой, забыв, что боец ждёт ложку.

— Хорош ты мужик, — смеясь, сказал комиссар, передавая ложку Порфирию. — Только буржуй недобитый... а жалко... Давай ещё выпьем.

— Гляжу я на тя, товарищ комиссар, — с сожалением сказал Порфирий, — и больно мне.

— Заразился от меня? — громко рассмеявшись, спросил Серафим.

— Я не про твою хворь... Бесполезный ты для жизни человек. Вот это жаль.

— Ты как с командиром Красной армии разговариваешь!? — возмутился Серафим.

— Газетки читаете, кругом буржуя ищите... А делать ничему не научен. Даже не знаш, с какой стороны к коню подойти...

— Почему это?! — снова возмутился Серафим.

— Супонь с Марфой путаете. Значит, оглоблю от дышла не отличишь. Грибов не соберёшь — это полбеда. Этому с малолетства учиться надо... На вашей шахте леса могло и не быть. А как же вы костёр разводить не научился? Картошку квадратиками чистишь. Правду говорил отец Томарий — такие называются пролетарствующими...

— А ну поясни?! — потребовал комиссар.

— Это, которые только под гармонь песни горланить могут и по газетам про всяких врагов вычитывать.

— Хватит базлать! — крикнул Серафим.

— Плохи слова говорите, товарищ комиссар. У нас только волк базлат. А у вас и люди уж.

— А ты чего делать умеешь? — не улыбаясь, спросил Серафим.

— Чего я умею делать? — повторил Порфирий. И

помолчав, добавил — Всё...

— Как это?

— Я умею жить... Значит, всё. — Зачерпнул ложкой похлёбку, проглотил и передал ложку комиссару.

— Всё, да не всё... Тебе же... за что не возьмишь, запрещено... Бог не велит. — И громко рассмеялся.

— Мне и вина хочется, и к чужой жене тянет, как воду в воронку. Да совесть не велит. А значит, не смей... Думать — думай, а делать — не смей... А твоё дело, как я погляжу, бессовестно.

— Мы дело правильное делаем! — сказал Серафим призывно, выставив перед собой ложку.

— Человек не дело должен делат на земле... — Порфирий выдернул ложку из руки комиссара.

— А чего же, если не дело?

— Человек должен творить, поскольку сам он — от Творца. А у кого нет в душе Творца, значит, нет и совести. Значит, он делат только дела.

— Дело — не творчество!? А что тогда!?

— Война — тоже дело, — резонно заметил Порфирий. — А она — убийство.

— Болтун ты, я погляжу! — выругал Серафим бойца, и сказал, смеясь: — Философ задрипаный. И запомни! Мировой революции без войны быть не может!

— Каждый для себя — философ, — сказал Порфирий. — Только один придумывает философию, чтобы человек с человеком жил по добру и с улыбкой, а другой — чтобы убивал один другого. Вот ваша философия, как я нагледелся — убивать...

— А фашисты, что по-твоему!? — выкрикнул Серафим.

— У вас — мировая революция, у них — мировое господство, Помнится, вы так говорил на политинформации. Почитай, и то и другое — та сама революция...

— Какая у фашиста революция?! Мировая революция — это правильность жизни для всего человечества! Так учат товарищи... — Серафим запнулся, перебирая в мозгу фамилии. — Товарищи Ленин и Сталин... Ну и Маркс, конечно.

— А немец, который нас в этот лес загнал... он не человек? Может, медведь таёжной или крокодил африканской? И, небось, для своих детишков счастья желат. И, думаю, не меньше чем я для своих.

Серафим замолчал и вдруг потребовал:

— Дай ещё водки!

— Пейте, товарищ комиссар, коль душа просит. — Достал

штоф и передал Серафиму. — А кто из них у вас патриарх?.. Главный?

— Товарищ Ленин, конечно. — Серафим отглотнул из горлышка. — Он главный был. — И снисходительно пояснил: — А сейчас вместо него товарищ Сталин.

— А кто из них главнее?

Комиссар задумался. Ему в голову не приходило выбирать кого-то в главные.

— Товарищ Ленин, — сказал он. — Потому что товарищ Сталин учит, что мы живём по заветам Ильича.

— А отец Томарий говорил, что ваш главный патриарх — первый антихрист.

— Они, чтобы ты знал — первые коммунисты! А коммунизм — это особая наука... как людей делать счастливыми. Товарищ Маркс её придумал... А товарищ Ленин написал целую книгу... как построить коммунизм в России... Вот мы его и строим, чтобы все другие завидовали и пример брали. А фашисты этого не хотят... Понимать надо, деревня. Вот откуда и война. А ты про фашистскую революцию...» — Он снова отхлебнул глоток.

— Вы этой самой науке обучались? — перебил Порфирий и отобрал штоф.

— Да.

— Значит вы, товарищ комиссар, на антихриста учились. — Боец задумался. — Потому и война против супостата не получаются... Мы не воюем, а бредём, как точно из Содомы и Гоморры. И всё по сторонам глядим. А нам бы назад обернуться и окаменеть. Супостату путь собой, как камнем, преградить... И после долгого молчания сказал, точно спрашивал себя: — Вот об этом бы задуматься...

Серафим молчал. Ему было неловко спрашивать у этого мужика про какие-то Содом и Гоморру.

— Вы со своими патриархами воевать не умеете... — продолжил Порфирий, объясняя себе свои же слова, точно никого не было рядом. — Народ в крови только топите. Смахнуть бы вас, как объедки со стола... До сил пока нет... А воевать за вас не хочу. Я хочу за отечество, а не за тя...

— Почему это мы воевать не умеем?! — с нескрываемой злостью сказал Серафим. — А кто Гражданскую войну выиграл? Ты со своим Томарием или мы с товарищем Сталиным?

— Твой патриарх заявлял, — тихо пояснил Порфирий, не слушая комиссара, — что человеку не нужно отечество... Кому не нужно отечество — тот безродный, пролетарствующий... А значит, бесчестный,

непочтительный к родителям... С бесом в душе...

— Ягляжу... ты в дезертиры готовишься. Разговоры у тебя, как у предателя.

— Я пока стараюсь вас, товарищ комиссар, от смерти спасти. А как война начнётся настояща, то я первый за Бога, царя и отечество... А вот за что вы со своим патриархом — не знаю? Бога у вас нет, отечества нет, царя нет... Вот и выходит — и воевать не за что.

— Царь теперь — это советская власть! — крикнул Серафим.

— Это что?.. Ты — царь? — с удивлением спросил Порфирий. — Вот за Бога и отечество воевать буду, а за тебя — нет. Пока ты власть — не хочу...

— Иди и сдайся в плен фашисту! — крикнул Серафим, не находя слов, чтобы возразить. В душе вспыхнула, унявшаяся было, ненависть к бойцу, к его непоколебимой уверенности, с которой тот говорил. И вдруг ясно осознал, что вся его крикливость тоща и гнила против слов мужика, увесистых, твёрдых и круглых, как морские камни, облизанные водой. И уже раздраженно добавил: — Он тебя примет!

А боец тихо добавил, не обратив внимание на крик:

— ... а деваться мне некуда... И, выходит, что я сейчас воюю с супостатом, а значит за тебя...

— Ты воюешь за родину! — Серафим закашлялся громко. Сбросил с плеч шинель. — Ты не желаешь идти в деревню со мной! А я знаю почему! Ты там... — Он не договорил. Снова закашлялся.

— Нельзя вам в деревню нос совать, товарищ комиссар.

— Что значит — нельзя? — с той же недовольной хрипотой спросил Серафим. — Я комиссар Красной армии! Комиссар! Мне везде можно!

— Как я погляжу на шинельку — вы умным человеком должен быть... А на деле — не сильно. Говорю, а не слышишь...

— Объясни! — потребовал Серафим.

— Звёзды на рукавах и в петлицах.

— Их срезать можно! — выпалил комиссар.

— Это верно. Спороть — не труд. А след всё равно останется. Сейчас эти звёзды на мужика, что сибирска язва на говяяд. Как здесь — не знаю, а у нас в тайге не пощадили бы.

— Да... советская власть кого хочешь перемелет! Всех врагов в порошок сотрёт! — Рассмеялся громко и добавил: — И тебя!

— Я выдюжу и супротив германа, и супротив вас. А вам без меня супостата не осилить... Вы защитите в первую голову не землю, по которой ходите, а себя... Здешняя земля для вас чужа... Вы это знаш, товарищ комиссар, и потому на всех людей, что бешена собака бросаешь... Все у вас — враги и предатели... — Порфирий вздохнул. — Давай будем готовиться ночевать. Тут крепко сыро. Быстро постелили остынут.

— Дай махорки, — попросил Серафим.

Боец вынул из сумки бумажку, оторвал от её ширины ленту в три пальца. Из вещмешка достал трубочку, похожую на кiset.

— Подставляй. — Отсыпал три больших щепотки самосада.

Серафим загнув бумажку и свернул трубочку. Выгреб из огня уголёк, прикурил. Затянулся три раза, выпуская сизый дым из ноздрей. И начал громко кашлять, вырывая собственное нутро.

«Вот, дурень», — сказал себе Порфирий и ушёл к воде мыть котелок.

Комиссар улёгся, долго кашлял. И заснул.

Порфирий сидел, слушая ночь. Издалека донёсся короткий волчий вой. Ему ответили с разных сторон три-четыре таких же коротких, успокаивающих. Над головой прогудели три тяжёлых самолёта.

И все утихло.

\* \* \*

Серафима разбудила далекая канонада. Она монотонным уханьем висела над соснами, как низкое облако в безветренную погоду.

Небо было серо-белым, а в глубине ложбины, у воды, таилась темнота.

Порфирий сидел у костерка, над которым висел котелок.

— Доброе утро, — весело сказал комиссар, поворачиваясь лицом к бойцу. Первое, что он почувствовал — в горле не было камней и они не тянули голову к земле.

— Утро Божие всегда доброе, — ответил Порфирий.

— Придём к своим, — вдруг сказал Серафим, пытаясь выбраться из лапника, — я тебе специальные книги найду. Образовывать стану. Ты — мужик смыслённый, догадливый. И про всяких попов быстро забудешь. — И рассмеявшись, добавил: — Ты читать-то умеешь? А то в полку я никогда тебя с газетой не видел.

— Зачем мне газета? — ответил Порфирий. — Я ведь не

курю.

— Так умеешь? — Серафим поднялся. — Ты чем в своей тайге занимался?

— Учительствовал в школе, — ответил боец.

— В какой такой школе? — удивлённо спросил комиссар.

— У нас, в тайге.

— И чему же ты учил? — осторожно поинтересовался комиссар. — Закону Божьему?

— Закону Божьему отец Томарий учил. А я почти всё остальное... Не всё, правда...

— Я представляю, чему ты детишек научил, — рассмеялся Серафим. — И физику, и химию?

— А как детям без них? Надо объяснить дитяти, что вода имеет три аллотропных состояния.

— Каких?

— Агрегатных, — поправился Порфирий.

— Зачем вам в тайге агрегатные состояния какие-то? Машин у вас всё равно нет. Плуг да лобогрейка.

— Ребёнок должен знать, что лёд и пар — всё вода... А без химии мы бы и не прожили. Порох сами себе давим. Правда, сильно вонюч. И дыма много. Селитра у нас плоховата... Как делать, я ещё в волости выучился.

— А дробь откуда берёте?

— С дробью у нас беда... В кузнице тонку ленту куём. Потом её крепко дробно режем. А какая крупная получатся — на картечь... А для дичи... от реки песок берём, промывам. Крупный у нас заместо дробы. И каждая гильза на счету. Если кто на охоту пошёл... Гильзу назад верни... И не посмотрим, что ты лося завалил или изюбра. Вот капсюлей нет. Иногда в волость кто из стариков бегат... Добывают...

Порфирий принялся возиться с костром. Укладывая валежины, спросил:

— А ты, товарищ комиссар, сколько учился?

— Высшую партшколу для командного состава.

— Я не про высшу... В неё сразу не берут. А до неё?

— Был начальником вагона-школы комсомольской пропаганды.

— Я не про собрания с лекциями? Про школу. Сколько классов на своей шахте?

— Четыре...» — нехотя сказал Серафим. — Я по партнаправлению... Сначала в армию, а потом в партшколу.

— Наберите воды, — попросил Порфирий, протягивая комиссару котелок.

Серафим спустился к воде.

— Только холодну не пейте! — крикнул в спину боец.



Комиссар, стоя у воды, укорял себя, что не может найти слов, которые бы зацепили бойца.

— Неуч с виду, — оправдал он себя, — а брешет складно про школу.

К Серафиму вернулась мысль: спросить про вероломное нападение немца. Но решил не спрашивать. Ополоснул лицо и пошёл к костру.

— Книжки-то откуда в тайге? — спросил он. Им всё ещё владела обида, оставшаяся после разговора в минувший вечер. И вдобавок родилось успокаивающее чувство превосходства перед бойцом. И эти два чувства заставляли искать вопросы, которые бы больно укололи, поставили в тупик Порфирия. — Тетради нужны... Ведь писать на чём-то надо. Вы, как древние египтяне, из кож бумагу делаете?»

— Папирус в тайге не сделаешь, это точно, — ответил Порфирий. — На смоляных досках пишем. Мел с клеем варим. Вот и писало. Для каждого предмета своя досточка... Одна беда... Я плохо учился на французском и немецком... Зато отец Томарий вместо этого греческий и латынь... А книги у нас ещё с до Николая. Школа... говорил отец Томарий, у нас в деревне получше губернских гимназий была... Вот только учителей не хватало... Одних белые побили, других — ваши, красные... А какие к китайцам подались.

— А сам где учился? — осторожно спросил Серафим.

— В губернской школе. Отец отвёз и на постой к хорошему человеку определил. Вот только до конца не доучился.

— Сбежал что ли от тоски? — пошутил Серафим и почувствовал, что сказал лишнее.

— Как стали колхозы ставить, меня дальше не пустили...

— Так ты и ботанику можешь? — зачем-то спросил комиссар.

— Я много обязан, потому как никого другого нет у нас.

— И астрономию?

— Не больно хитра наука, — заметил Порфирий. Снял с перекладины котелок. — Гляди на небо — и всё видно. И углы небесны научись вычислять... Вот обидно, что Земля только в одну сторону крутится.

— А в какую же она должна крутиться?

— У нас над головой есть Полярна звезда, через которую мировая ось проходит... А у тех, кто в Южной Африке живёт или в Аргентине... У них Южный Крест... Очень мне хочется посмотреть на него.

— Я даже знаю зачем, — с ухмылкой сказал Серафим.

Порфирий с любопытством глянул на комиссара.

— Похож ли он на ваш поповский крест или нет?... — смеясь, сказал Серафим. — Я тебе скажу... Вот моё мнение... Твой Бог за тем крестом и прячется. — Он громко рассмеялся.

— Давай, будете есть, товарищ комиссар — сказал боец.  
— А ещё малинуху заваривать.

— Табаку отсыпь, — попросил Серафим.

— Кто же это на пустой желудок курит? — сокрушился Порфирий. — Сначала хотя бы поесть, если горла не жаль. А уж потом...

— Устал болеть. Чувствую — силы вернулись. И варева твоего больше не надо. — И сказал, будто пошутил: — Ты бы мне дал глотнуть... из штофа.

Порфирий вынул листочек, оторвал полоску, всыпал две щепотки махорки.

«Вечером налью. А когда придём к своим — всё отдам, — сказал он, протягивая комиссару курево. — А с вином в голове только дурень воюет.

— Тогда отдай мне махорку.

— Все спички до полудня изведёте. А в деревню уж не сходить нам...

— А придём, — Серафим выкатил уголёк и прикурил, — я этой гадости курить не стану. Сразу куплю «Казбек». А если улыбнётся счастье — «Герцеговину Флор». Ты курил «Герцеговину» когда-нибудь?

— Бог миловал... Ешьте... и пойдём, пока бьются.

— А почему ты так о Красной армии? — спросил комиссар. Его снова подстегнула шлея превосходства. — Красная армия не бьётся, а сражается с врагом!

— Когда канонада, значит, к чему-то готовятся, — объяснил Порфирий. — Пушка так просто стрелять не станет. Сразу после неё пехота и конница должны что-то делать... А пока бой — до нас никому нет дела.

— И откуда ты всё знаешь? — Серафим выбросил окурочек и взялся за котелок. — Я — человек военный... И то не всё понимаю в войне... Ты курсы военные окончил?

— Книжки читал, когда в школе учился. У нас по войне их было много. Особенно про кавалерию и лошадей.

— А тебе сколько лет? — спросил комиссар, вылавливая из котелка опёнок.

— Со вчерашнего дня тридцать второй пошёл.

— А мне через месяц тоже тридцать два... — Серафим повеселел. И вдруг запел: — «Мы красные кавалеристы и про нас...» Давай до вечера тут посидим. День рождения твой отметим.

— Вы вчера отмечал. Я до гробовой доски этот день

помнить буду. Ешьте быстрее. И пошли. Мне ещё котелок и ложку мыть.

— А ты? Будешь есть?

— Я уж поел... Если бы не вы, я бы давно из этого леса к своим перебрался.

Порфирий дождался, пока комиссар дожует кусочек хлеба. Взял котелок, ложку и спустился к воде.

\* \* \*

Лес кончился внезапно.

Они вышли на огромное поле, устланное жёлтой стернёй. Посреди него бугрилась высоченная скирда. А за ней, за полем виднелись чёрные крыши изб. Из каких-то поднимался белый дым.

Порфирий огляделся.

— Может в деревню? — предложил комиссар осторожно.

— Разузнаем...

— Боюсь, уж разузнавать нечего. Канонада перед нами. Значит, в деревне точно немец есть. Перед фронтом войска много. По избам сидит.

— Погляди! — толкнул Серафим бойца и указал на край лесной залысины.

Там на границе леса и поля в мелком кустарнике паслись две козы — белая и чёрная. И темнела маленькая человеческая фигурка.

Серафим заложил два пальца в рот и попробовал свистнуть. Но свист вышел шипящим, сдутым.

— Не смей! — приказал Порфирий. — Подойдем. Иначе напугаем.

Прошли лесом.

Когда поравнялись с козами, боец тихонько крикнул:

— Эй!.. Ты кто?!

Человек в чёрной фуфайке и платке обернулся. И пошёл прямо на бойцов, опираясь на тонкую палочку-посошок, оглядываясь на коз.

Это была старуха лет шестидесяти. Мелкие серые морщины стягивали худые щёки и подбородок, выставляя наружу тонкий острый нос.

— Ой сыночки... — взволновано сказала она. — Што же вы так поздно-то. Надо было дня четыре назад... Я бы вас накормила... А уж немец пришёл третьего дня. У нас во дворе была толока. Солому на зиму меняли. Мой племянник на коньке сидит и кричит: «Едут на мотоциклах»... Ироды...

Старуха оглянулась на коз.

— И беда-то неужённая, — сказала она торопливо, точно

делилась новостью, от которой хотела оградить неизвестных военных. — В тот же день к нам поставили двоих. Серые, что те мыши. Говорящую коробку притащили, по какой в кино начальство разговаривает. И свет на длинном шнурке повесили... А керосин запретили сильно... Беда... Изба на райком стала походить. Приходят и уходят бездельно и по-своему гогочут, что те гуси... А керосин нельзя жечь... Чтобы дом не спалили, говорят. Только печь велели топить и щи этим двоим готовить утром и вечером. И молоко. Вот я коз и пасу...

— Идти нам как? — спросил Порфирий.

— Тут за леском сразу поле, а за им наша речка... Истья. Она десновата, как перепуганный уж... Летом можно было бы перескочить. А тут дожди были. Воды набралось... А за ней большая река Нара... Знаете?

— Нет. Мы — сибирские, — сказал Серафим.

— Как нам идти-то, матушка, чтоб на немца не напороться? — спросил Порфирий.

— Через Истью вы перелезете уж... А дальше большая вода... Если краем леса... Вёрст пятнадцать Там мост. Через него... Да боюсь, что немец уже и тама. Всё гудит по большаку. Утром крепко слышать...

— Деревни есть на этом берегу, на Наре?» — спросил боец.

— Конечно... Алобово... Оно большое. Там немец обязательно заселился. А рядышком ближе к воде — Старо-Петровское... Там пять изб всего... Я оттуда замуж взята... Как придёте, спросите Петруню Грибанова во второй избе... Это брат мой. Скажете... Пелагея-ворожея прислала. Именно так. Иначе не поверит. Он вас через воду и перевезёт. Я к нему много нашего люда направила.

— Спасибо, матушка, — поблагодарил Порфирий. — Нам куда?

— Вот вдоль леса. А как на осинник наткнётесь, сразу влево и до Истьи. И там не сворачивая через два поля и лесок. Только бегите быстрее.

— Почему? — спросил Серафим.

— У моих коз вдруг уши шерстью заростать стали. А это к морозам. Лютым. И скоро... И храни вас Господь... — Старуха перекрестила военных. — У меня два сыночка ушли... Не знаю, дождусь ли когда?..

Она пошла к своим козам, опираясь на тонкий посошок.

\* \* \*

На пятый допрос Серафима привели к лысому военному в большой светлый кабинет.

Тот сидел за массивным чёрным столом с зелёной суконной вставкой на столешнице. Выпученные глаза жадно смотрели сквозь длинные рыжие ресницы, походившие на перекаленные иголки. Кривой длинный нос прикрывал рыжеватые усики, квадратиком сползавшие к нижней губе.

— Ну... Что скажешь, комиссар? — спросил военный, кусая и прокалывая взглядом. — С кого форму снял? Прошёл двести километров, а точно новая. И бельишко свежее.

— Я — комиссар Красной армии! — резко ответил Серафим. Его не отпускала злости и ненависть к тем, кто его допрашивал, требуя, чтобы признался, что он — немецкий шпион и предатель. — Мылся и форму стирал две недели назад... Чтоб гнида не завелась.

— У немца такая же баня, как и у нас?

— Я — комиссар Красной армии!

— Может, и был ты комиссаром, — заметил военный равнодушно, глядя мимо Серафима, — А сейчас — сука ты продажная. Фамилия у тебя какая?

— Уланов... Серафим Авдеевич.

— А настоящая?

— Я — Уланов.

— Может быть и Уланов, — сказал певуче военный. — А что комиссар Красной армии — врѣшь, как сивый мерин.

— Я окончил Высшую партшколу для командного состава Красной армии... — добавил Серафим.

Военный выдвинул ящик стола, вынул листочек. Долго разглядывал. И спросил:

— А скажи-ка, комиссар Уланов... Если ты окончил Высшую партшколу... Сколько денег полагалось слушателю на покупку книг?

— На год сумма, равная месячному довольствию, — чётко ответил Серафим. — Семьсот рублей.

Военный дёрнул губами, не отрывая глаз от бумажки.

— Как фамилия человека, который выдавал оружие в стрелковом тире в твоей партийной школе?

— Фамилию не знаю. А звали — Гарник Амазаспович. Капитан.

Военный снова выдвинул ящик стола, вернул туда листочек и вынул книгу в синей клеёнчатой обложке. Поставил её перед лицом Серафима.

— Твоя?

— Наверное...

Он раскрыл переплёт. В книге не было половины страниц — торчали только обрывки у корешка, как стерня после покоса.

— Что за книга — знаешь?

— Не написано... — Серафим пожал плечами.

Военный сорвал клеёнчатую обложку и, тыча пальцем в красные буквы названия на переплёте, крикнул:

— Читай, падла!

— Краткий курс истории ВКП(б), — выдавил Серафим.

— А как эта книжка оказалась в твоём портфеле?

Серафим потупил взгляд и вспомнил, что сам позволил Порфирию вырывать страницы из книги.

— Я по ней с красноармейцами политзанятия проводил. Читал страницу за страницей. — И попробовал оправдаться. — Да я их почти все знаю наизусть...

— Наизусть... — усомнился военный. — И те, которые выучил, вырвал... А которые не доучил, вырвешь потом? Правильно!?... А как комиссар Рабоче-Крестьянской Красной армии должен относиться к таким важнейшим для победы документам?

Серафим молчал. Руки у него дёрнулись и губы задрожали. Вспомнил, как Порфирий разжигал костры, сворачивая бумажки в трубочки. Как сам курил пьянящий самосад, получая от бойца бумажные квадратики и большие щепотки махорки.

«Вот, идиот! — стиснув зубы, выругал себя Серафим. — А этот недобитый кулак — сволочь».

Военный спрятал книгу в стол.

— Выучил... и вырвал, — с безразличием сказал он кому-то. — А что не успел — оставил... — И, глядя на собственные руки, спросил: — Правильно я говорю? — Вдруг вскочил, ударил по столу кулаком, крича: — Ты, сука, кому служишь!? Самый важный для нас документ в нужники затаскал! Ты свою задницу чистил, а на деле — партию изгадил! Дерьмом обмазал!.. Ты — комиссар РККА!? Да тебя не то, что расстрелять... Тебе ноги и руки за такое вырвать сначала нужно, а потом глаза выколоть... Высшую школу окончил, видите ли! Это там тебя выучили рассказывать и показывать бойцам рабоче-крестьянской армии, как над партией измываться? Что тебе плохого сделала наша партия? Из грязи в комиссары вывела... Бесплатно кормила! Поила! Учила! А ты!?

Военный уселся с таким видом, будто и не было никакого эмоционального всплеска.

— Так кто ты на самом деле? Последний раз спрашиваю?

— Серафим Уланов. Комиссар Красной армии. Получил назначение на должность батальонного комиссара в сто одиннадцатый полк шестьдесят второй дивизии двенадцатой

армии... С первого апреля тысяча девятьсот сорок первого года... Приказом по Политотделу Киевского особого округа.

— Где познакомился с красноармейцем Старых Порфирием Пантилеймоновичем?

— Старых — боец... сто одиннадцатого полка. Я всё написал... на первом и втором допросах.

— Крепко тебя учили, — сказал военный. — Вот ты знаешь про Старых всё. А он про тебя ничего не знает. А в одном полку... Не знает даже, как твоя фамилия...

Серафим вспомнил, что Порфирий всегда называл его «товарищ комиссар». И как имя и фамилия — не спрашивал.

— Если ты у них комиссар... — укальывая веками, спросил военный, — то, как ты можешь охарактеризовать бойца, с которым пришли от фашистов? Как комиссар, должен всё знать про каждого.

— Кулак недобитый, — выпалил Серафим. — Сбежал с семьёй от коллективизации. И в Красную армию обманом пробрался... Пока шли, всё старался меня агитировать против советской власти. Что ни шаг — всё Бога вворачивал... Не хотел, признаюсь, говорить... Страницы из «Краткого курса» на самокрутки втихаря он вырывал.

— Да... С твоим Старых мы уже разобрались... Давай закурим, комиссар, — доверительно и спокойно предложил военный. — Что ты учился в партшколе — это правда. — Достал из кармана синей диагонали запечатанную пачку «Беломора». Вскрыл её. Вытащил трубочку папиросы до половины и протянул Серафиму. — Кури. — Принялся тереть неумело, по-женски, спичкой о коробок.

Что-то ударило Серафима в голову. Вспомнил, как неизвестный ему боец, схватил его за шиворот шинели и потянул, как ягнёнка, куда-то по окопу. И через мгновение рядом с ним взорвалась мина... И сейчас та же рука держала его руку, не позволяя потянуться к пачке папирос.

— Я не курю, — уверенно сказал Серафим.

Военный отбросил пачку на угол стола, задул спичку и, откинувшись на спинку стула, с ленивым равнодушием спросил:

— Да... Влип ты сильно... Даже не знаю, что с тобой делать? Как это из книги у комиссара можно страницы вырывать? Да ещё из такой!

— Болел я крепко. Всё больше у костров грелся... чтобы температуру сбить. И не мог видеть, как он вырывал. Брал, вырывал и самокрутки делал... Я даже подумать не мог, что это страницы из моей книги... В портфель не заглядывал... А когда перешёл... Все протоколы о политзанятиях в полку

сдал... Я за нашу партию готов жизнь положить.

Военный отмахнулся, кивая. И было не совсем понятно, каково его мнение о комиссаре, сидящем перед ним. И спросил:

— А жена у тебя есть? Дети?

— Врач, — ответил Серафим. — В Киеве осталась. Но с июня не получал писем... Татьяна Лукьяновна... Только она на своей фамилии... Замковая.

\* \* \*

В госпитале в десять вечера выключили дизель и отключили аккумуляторы.

«Слава Богу, сегодня не будет больше операций, — подумала Татьяна. — Хоть отдохну».

С восьми утра она ассистировала во время двенадцати операции к ряду начальнику госпиталя и пока единственному хирургу. Двоих не вытащили. Один, какой-то алтайский мужик дышал, но надежды, что выберется, было мало. Радовало — мальчик девятнадцати лет останется жить. Отрезали ногу вовремя — началась газовая гангрена.

Через час ей выпадало ночное дежурство. Это хоть и не сон, а всё равно отдых. Читай медицинские листки, с которыми прибывают раненные... Тяжелых на завтра первых на стол — их бумажку перед собой. У кого операция терпит — листок направо... Остальные — в кучу налево.

В маленькой комнате дежурного Татьяна зажгла керосиновую лампу, сменила стёганые валенки на толстые пимы, на халат набросила телогрейку, взяла свою любимую авторучку, которую ей подарил бедолага московский журналист ещё в киевском госпитале, принялась греть, дыша на неё.

Первым прибежал санитар из приёмного отделения — боец с одним уцелевшим глазом.

— Куда новых девать, товарищ военврач третьего ранга? — он протянул пачку медицинских листов — этакое скороспелое досье на раненых, которых привезли со станции час назад. — У палатах нету местов.

— В коридоре можно положить, Ваня?

— Можно игде вгодно. Хоть на дворе. Так там мороз двадцать градусов.

— Позови Степанюка. Пусть начинает топить печи в коридоре! — приказала Татьяна.

Красноармеец ушёл довольный, что ему поручили дать команду сержанту Степанюку, медведю на двух человеческих ногах.



Через десять минут появился Степанюк. Его огромная голова заросла волосами от затылка до подбородка, закрывая уши и лоб. И эта шерсть делала лицо маленьким, крохотным. А чёрные дырочки вместо глаз делали лицо ещё меньше.

— Товарищ Воентаня трэтёго ранга, — обратился он громким голосом. — Дров до ранку нэ хватыть эсли уси печки топыть. А обещады ще три дня назад привезты.

— И чего ты этим хочешь сказать, Федот? И вообще... Сколько раз можно просить?.. Говори тише. Стенки, как бумага. Всё слышно. У тебя есть стратегический план штурма дровяного склада армейского тыла?

— Я от шо хочу сказать, товарищ Воентаня третёго ранга, — доверительно, сказал сержант. — Той хлопэць, шо з Алтаю... Якого сегодня ризалы... Думею, он проживёт неделю... И дай ему Бог ще до самой смерти жить.

— Куда клонишь?

— Учера раздавалы нормы. Махорочку... Так двое алтайских не взяли... Не курють. И тот, которого последним резали... Он тоже ж алтайский.

— Какая махорка, Федот? Полжелудка твоему алтайскому вырезали.

— Так я не про то, товарищ Воентаня, — хитровато заговорил Степанюк. — Он и его друзьяки совсем же не курють... От рождения. У них запрет от протопопа Аввакума... Так и говорили: «Нам неможна». Я не знаю, хто такой Протоавакум ихний. Но, выдать, дядька суровый... Не пить, не курить... Старой веры человеки алтайские.

— Быстрее выздоровеют.

— Да я не про то... А паёк полагается каждому, хто привезённый до нас у госпиталь. Хоть ты — генерал, хоть — и Протоавакум. Чи — куришь, чи — нет... Старшина на каждого выписует махорочку... А таких староверов у нас пять про палатам... Трое — алтайских и двое — уральских... А у меня есть человек... На станции при дежурном служить. За махорочку может духи хорошие достать...

— Я должна дать указание старшине, чтобы он тебе пять пачек староверской махорки выдал? Правильно?.. А если они вдруг захотят закурить, твои староверы? Что я буду делать? Бежать к начальнику гарнизонного тыла и просить махорку? Видите ли, товарищ полковник, я на неё духи себе выменяла... Так?

— Да их под трибунал постав... Расстрелой... Нэ будут курить. И спырт они не пьют. А норма есть. Нам, якие по грязюке ползають — водочка полагается... по приказу наркома. А як ты танкист чи лётчик — так тебе коньячок...

— И что в обмен на махорку и спирт обещают на станции? Паровоз или три колеса от вагона?.. Ступай отсюда быстро!

— Я ж для вас стараюсь, товарищ Воентаня третёго ранга... Шоб вы были, як тая роза... Пахлы, шо тая черёмуха...

— От черёмухи угореть недолго.

— А мужчине того и надо... Мы ж з вами зэмяки, як не як.

— Это точно. На одной Земле живём... И топить печи немедленно... Видишь, я в валенках сижу... А у Лазаря Шаевича в доме топил? А он двенадцать операций провёл сегодня... Ты же знаешь — он будет мерзнуть... и слова не скажет. А вы этим пользуетесь, обормоты... А у него домик, что собачья конура. Весь промерзает. А завтра сразу с утра три операции. — Она взяла медицинские листочки «очень плохих» больных и потрясла ими в воздухе. — Топи быстрее!

Степанюк ушёл.

«Я уже забыла, что такое духи, — подумала Татьяна. И вспомнила, что «Красную Москву» в красной коробочке с махровым султанчиком, которую подарил муж, уезжая в командировку, она потеряла, когда госпиталь перебирался из Киева в Воронеж. — А мне ведь тоже полагается махорка... Я ни разу не получала... За девять месяцев с начала войны — девять пачек... Завтра пойду к старшине... Пусть даёт?... Отдам Степанюку...» — Принялась разбирать медицинские листки.

Она уже два часа перекладывала их с места на место, выбирая по истории болезни из очень безнадёжных тех, кто мог бы и полежать день-другой.

Оставались три листочка.

Татьяна взяла верхний... и у неё задрожали руки.

«Уланов Серафим Авдеевич, 1910 г. р. Батальонный комиссар».

Татьяна закрыла глаза, желая не поверить в случайное совпадение.

«Перелом (перебитие) бёдерной кости левой нижней конечности с разрывом мышц в результате осколочного ранения. Наложён гипс. Следы недавней, пролеченной *angina follicularis*.\* Подозрение на *pnevmonia*.\*\*

Вышла в коридор. Прошла в приёмное отделение. На столе горела слабым огнём керосинка, заполняя всё вокруг ядовито-угарным запахом. От двери крепко тянуло холодом. Дежурный спал, положив руки и голову на стол.

---

\* Фолликулярная ангина - лат.

\*\* Воспаление лёгких - лат.

— Ваня! — Татьяна толкнула дежурного в плечо. — Где... вот этот раненый? — Она, с трудом сдерживала волнение.

— Уланов.

— А чего у него? Он с чем?

— Кость на левой ноге перебита. В гипсе...

— Которые у гыбсе — у коридоре на втором этаже.

Она прилетела на второй этаж. С двух концов длинный коридор освещали тусклым светом керосинки, висевшие почти под потолком. Койки стояли вдоль стен — голова к голове. Из дальнего конца доносились стонущие звуки спящего человека и чей-то счастливый храп.

Она пошла вдоль коек, заглядывая в лица.

В глаза бросились костыли, опёртые о спинку кровати...

Серафим лежал на спине. Дыхание его было хриплым, надсадным.

Татьяна положила руку на подушку рядом с головой мужа и присела. Закрыла глаза.

— Живой... — По щекам побежали слёзы. Она, улыбалась.

— Фимочка, милый... Живой...

\* \* \*

Ваня спал у стола.

Татьяна открыла дверь. Февральский мороз ударил ей в лицо. И радостно залетел в приёмный покой. Она заперла его снаружи, оставив разбираться дежурному. Пошла по скрипящему снегу к домику начгоспиталя. Мороз хватал за колени и руки. Но она не чувствовала. Шла на свет в окошке...

«Какой хороший день, — счастливо думала она. — Фима живой... И Лазарь не спит». — Она шла на свет его окошка.

На её счастье Мухлевич не спал. Сидел в пальто у стола и при свете керосиновой лампы, что-то писал.

— Что случилось, дорогая Воентаня? — спросил строго старик, увидев в дверях заплаканную и улыбающуюся женщину.

— Серафим живой.

— Это кто? — Начгоспиталь поднял свой длинный нос.

— Муж мой...

— Так это такое счастье! Ты получила письмо? Где он?

— На втором этаже в гипсе...

— В каком госпитале? — растерянно спросил Лазарь Шаевич.

— У нас... Вечером которых привезли...

— Так зачем ты плачешь, девочка моя?... Он же живой! С каким диагнозом? Или надо резать? — Мухлевич засуетился.

Встал из-за стола, нервно потирая руки. Он решил, что предпринять в случившейся ситуации.

– Осколочное ранение, – волнуясь, ответила Татьяна.  
– Перебита кость левой ноги... Он в гипсе... С костылями...»

– Боже! Надо радоваться! Какое счастье для мужчины! Осколок пролетел мимо... Я сейчас, девочка моя.

Он ушёл в соседнюю комнату. Из-за двери были слышны глухие, угасшие слова и шорохи.

Из двери вышла круглолицая седоволосая женщина лет шестидесяти в длинной ночной сорочке и в пальто, наброшенном на плечи. На левой щеке, чуть стороне от глаза, чернела большая шишка.

– Тане! Как я за тебя рада! – сказала она. – Лазарь сказал, что у твоего мужа очень тяжёлый ранение... И по этому случаю просит развести спирт. – Она подошла к металлическому застеклённому шкафчику, достала оттуда круглую бутылку с притёртой пробкой и два стакана. – Я тебе скажу, Тане... Я бы и не стала разводить, если бы сейчас передали у радиве, што эта проклятая война кончилась... И шо это за такое тяжёлое ранение, шо за него надо обязательно пить у середине ночи?

– Зачем, Рива Залмовна? Я же не пью... – сказала Татьяна.

В комнату вошёл Лазарь Шаевич. Вместо привычного мундира – штатский костюм: белая рубашка, застёгнутая на три верхних пуговицы, и бабочка. Правда, брюки были заправлены в валенки.

– Ой! – восхищённо всплеснула руками Рива, глянув на мужа. – У одного радость, а празднует другой!

– Рива! Это таки праздник. Может, мы откроем баночку тушонки? Мы давно ничего не отмечали. Ты помнишь когда последний раз?

– Помню, – серьёзно ответила жена. – Мы, Воентане, как получаем письмо из фронта... обязательно отмечаем. Только уже два месяца ничего нет...

Рива Залмовна разлила спирт. На столе появилась большая тарелка с тушёным мясом и три куска чёрного хлеба.

– Почему только два стакана? – спросила осторожно Таня.

– Потому что мой муж, давно пропил усю свою молодость... на мою голову. Ему не то, шо пить... нюхать не разрешается. Теперь я за него. Я ещё вдвляюсь, как он делает операций?

Женщины выпили. Татьяна морщилась, ожидая когда жидкость перестанет резать желудок.

– Слушай сюда, Лазарь, – обратилась Рива к мужу. – У

тебя у втором этаже под лестницей имеется бойден.\*

— И что? — осторожно спросил начгоспиталь.

— Там какой-то альте захер.\*\*

— Прикажи его викинуть. Пускай Федот и Ване прибьют простынь. И поставят две койка. Ребятам печка не сильно нужен. Молодые. Себя греть будут... Успомни... Мы же с тобой так и жили у Файки... И Натан родился... Вы знаете, Воентане?... — Женщина налила разведённый спирт в стаканы. — У нас Натан — кавалерист. Усё можна принять. Пусть музыкант, адвокат, дангист... Даже бендюжник. Но шоб кавалерист! Это же усё время на лошадь сидеть... — И обиженно добавила: — Еврей — кавалерист!.. Шлемазл!\*\*\*

— Рива! — остановил жену Лазарь Шаевич. — Это человеку не интересно. Мы празднуем счастье нашей Воентани.

— А твой муж ихто? — спокойно спросила Рива Залмовна.

— Батальонный комиссар.

Старуха сжала губы и настороженно спросила:

— Усегда или токо на войне?

— Учился...

— Дрейдл,\*\*\*\* — тихо сказала женщина. И громко добавила, наливая в стаканы:

— Я обязательно вам изделаю отдельную комнату нес гадоль.\*\*\*\*\* Воентане третьего ранга...

\* \* \*

По лестнице кто-то непрерывно ходил. Мелькали тени за простыней. Радовало, что свет коридорного освещения не проникает в коморку.

Они лежали на одной кровати, составленной из двух коек, перехваченных двумя слоями худых матрацев, уложенных поперёк.

Лежали, прижавшись друг к другу.

Серафим рассказывал, как выбрался из окружения. Говорил долго, неспешно.

— Как пришли... сразу на допрос, — продолжал рассказывать он. — Пять раз допрашивали. В глаза светом жгли. Думал — ослепну. Хотели расстрелять, суки!

---

\* Бойден — чулан, чердак(идиш).

\*\* Альте захер — ненужные вещи (идиш).

\*\*\* Шлемазл — большое счастье (идиш). Употребляется, как радостное, так и иронически-неодобрительное восклицание для оценки поведения человека.

\*\*\*\* Дрейдл — волчок, человек без чести и принципов.(идиш)

\*\*\*\*\* Нес гадоль — чудо великое, очаровательное существо (идиш).

— За что? — испуганно спросила Татьяна.

— Что я, комиссар Красной армии, предал партию... Это я... и предал партию.

— Так и сказали?.. А как же ты мог её предать?

— Я же говорю... Пришли... — повторил Серафим. — Последние две недели шли вчетвером. Двое сбежали. Они... местные были. А нам куда? Мне — в Караганду? Мы же ничего не знали, где война... А где ты, я не мог даже предположить... Дошёл немец до Киева или нет? А тот, с кем я остался — сибиряк. Откуда — не знаю. Только всё говорил, что под каким-то попом Аввакумом чтит себя. Шли, забегали в деревни. Где хлеба, где луковицу дадут... А этот всё только самосад просил. Я ещё удивился, что просит махорку, а не просит газету... А когда пришли к своим, выяснилось, что он у меня из портфеля «Краткий курс истории ВКП(б)» украл... Страницы выдергивал и самокрутки крутил... А когда последнюю ночь ночевали, мне в портфель и подсунул её... Особисты обыскали. Нашли... Пять раз на допрос приводили. Проверяли... Даже про нашего армянина из тира спрашивали, как его зовут? И каждый раз одно и то же: «Как ты комиссар Красной армии такую книгу испохабил? На нужники пустил? Я долго не мог объяснить. А потом догадался и понял, как всё вышло...

Серафим пошарил рукой под кроватью. Достал коробку «Казбека» и принялся зажигать спички. Коморка осветилась на мгновение.

— Горло сейчас не болит? — спросила Татьяна.

— Болело, пока шли... И крепко болело.

— А как же ты лечился?

— Само как-то прошло... Бог сберёг...

— И ты курил?

— Я же говорю... Мне не до курева было... И температура... Иногда чувствовал — сожжёт она меня... Когда пришли к своим, я ещё три недели в госпитале валялся... Сказали — у меня была ангина... и чуть не заработал воспаление легких... Но Бог сберёг.

— Сейчас зачем куришь?

— Тянет. Нет мочи. На какой-то станции парни купили пять пачек «Казбека».

Они лежали молча.

Татьяна спросила вдруг:

— А чего с тем... который аввакумовец?

— В особом отделе сказали, что с ним правильно разобрались.

— Это как?

— А как с такими у нас разбираются? — ответил Серафим.  
— Как и должно. Из-за таких война и идёт до сих пор. Оружие бросил. Страницы вырывал. Морду в сторону фашиста только и воротил.

Татьяна лежала молча. Вдруг на фоне тёмной простыни возникло лицо Гервасия. За его спиной тарахтел самокат. «Я же говорил... А он всё про «Красную армию Европы»... Рассмеялся. И вдруг чьи-то руки схватили его и поволокли. Только треск самоката, похожий на пулемётный, не исчезал...

— Ты уехал, — осторожно сказала Татьяна, — а Гервасия арестовали...

— Машковского? Так туда ему и дорога. От таких всё и идёт! Куда ни ткни — одни Машковские...

Серафим засопел во сне.

Татьяна осторожно сползла на холодные доски пола и, стараясь не разбудить мужа, надела на ночную сорочку гимнастёрку, воткнула голые ноги в стёганные валенки, нырнула под простынь. Прошла пяток шагов по коридору, ступая по-кошачьи, и сломя голову помчалась мимо коек на первый этаж. Напугала своим видом кривого Ивана. Выскочила на мороз и побежала к домику начгоспиталя.

«Бог сберёт, Бог сберёт... — повторяла она, скользя по укатанной дорожке. Упала. Поднялась, не заметив, что разодрала колено. — И Машковского от тебя не сберёт... и меня... Господи, почему ты ко мне так!? За что ты на меня наслал его?..»

В окне начгоспиталя света не было.

Уперлась в дверь, принялась стучать кулаками в промёрзлые доски...

— Кто? — спросил голос Лазаря Шаевича.

— Воентаня! — выкрикнула она сквозь слёзы.

Дверь отворилась. Татьяна ввалилась в тёмные сени и упала на грудь старику.

— Лазарь Шаевич, миленький!.. — она рыдала, хлебая влагу, бегущую по щекам.

— Ой, вей'з мир,\* моя девочка! Пойдём. Говори, что вдруг случилось?

В кабинете, где они ещё вчера радовались счастью, Татьяна упала на колени перед Мухлевичем и, уцепившись за штанины пижамы, взмолилась:

— Куда угодно, Лазарь Шаевич! Куда угодно... Но только подальше от этого человека... За что меня так наказали?!

---

\* О, вей'з мир — бог мой (идиш).

Лазарь Шаевич, за что?.. Я ничего дурного не сделала...

— Девочка моя, встань! — попросил начгоспиталь, не имея сил бороться со смущением. — Таки диагноз был неправильный?.. Таки не пролетело?

— Лазарь... Отправьте меня быстрее... Иначе... я застрелюсь прямо здесь...

— Куда же тебя ночью? — растерянно спросил Мухлевич.

— Это таки большое несчастье... Но это не беда... Можна найти другого мужчину...

— Отправьте меня... — взмолилась Татьяна.

Они не слышали, как в кабинет вошла Рива Залмовна.

— Лазарь, бекицер (короче - идиш. Идиоматическое слово, имеющее иного значений (делай быстро, не морочь голову, не придумывая, чтобы отказать и т.д.) — строго сказала женщина. — Шо ты разговариваешь за глупости! Ты же видишь, что у девочки таки настоящий беда. Она же совсем без юбка. Так это очень большой беда для женщина. От хороший человек без юбка не убегают... И позвони немедленно Марку Кацу! А то я это сделаю сама! — Подошла к Татьяне, опустилась на колени рядом, обняла её. — Ты хороший доктор, девочка моя. Мы тебе любим... Тебе таки не нужен тохез дир акрец (чирей на заднице - идиш. Идеома: болезнь не вовремя и не к месту; к человеку — дрянь, но можно и надо пережить)... Тебе нужен хороший человек... Жалко, Натана нету с нами... Не плач, нес гадоль Воентане, не надо... У тебя будет хороший муж... как у мене... — И умолкнув, словно перебив себя на полуслове, уверенно добавила: — Это тебе обещаю я...

\* \* \*

Долетел звук подвешного мотора.

«Это за мной Адамыч», — поняла Татьяна Лукьяновна. Поднялась, взяла зубную пасту и щётку. Пошла к воде.

Далеко на реке, у самой развилки двух вод темнела лодка Леонида Арсентиевича.

В рукав повернула «Ракета». Она с грохотом пролетела мимо, швырнув на берег крутые волны.

«Половина девятого, — отметила Татьяна Лукьяновна, провожая речной болид взглядом. — Назад будет у нас в двенадцать... Нужно попросить Адамыча, чтобы на обратном пути завернул на пристань... Привезём ребят... Как хорошо, что Леонида не нужно посылать. И так на ладан дышит... Господи, спаси его и сохрани... Хорошо, что я не прочла письмо...»

Москва, Железноводск. 2010-2013 гг.



Римма КАТАЕВА

**ЖИЗНЬ И СУДЬБА**

А всё-таки жизнь хороша,  
И мы в ней чего-нибудь стоим.  
*Арсений Тарковский*

Алексей Бинкевич — поэт и переводчик, философ и романтик, реалист и лирик. И настоящий друг. Знакомы мы уже лет сорок, и с каждым годом наша дружба крепнет и крепнет. В этом году Алексей отмечает семидесятилетие, и оттого ещё трогательней и убедительней звучат его строки:

И в шестьдесят нам хочется любить,  
и в семьдесят мы любим, словно в двадцать.

И к этим дням приурочен выход двухтомник поэзии Алексея Бинкевича, которому я бесконечно рада.

Когда я была ведущей литературной студии им. Павла Тычины, Алексей обычно сидел в конце зала за последним столом, живо участвовал в обсуждениях молодых и немолодых авторов, а в семинарах, что проводило Харьковское отделение НСПУ, практически был моей правой рукой. В Центральную студию Бинкевич пришёл давно — в семидесятых, совмещая её с посещениями литературной студии ДК строителей им. Горького.

Здесь, в Центральной студии, у него появились новые, стремящиеся в литературу, друзья — прозаики, поэты, юмористы: В. Замесов, Л. Тома, А. Ковалёва, А. Мирошниченко, В. Верховень, В. Бойко, И. Мироненко, И. Мельницкая, Н. Супруненко, В. Дашевский, В. Глебов, В. Пинчуков, А. Перерва, И. Полякова, Р. Брезницкий, В. Воргуль, О. Тараненко, В. Рубанович, Г. Половинко, А. Стряпко, С. Цыпин, З. Окон и другие. Почти все они — студийцы — стали членами НСПУ. Но самыми близкими Алексею на долгие годы оказались Вячеслав Романовский и я. Мы общались семьями, стихами, книгами. Работа литстудии кипела. Студийцы группами разъезжали по городам и весям Украины. Алексея Бинкевича как яркого представителя

творческой молодёжи харьковщины включили в состав агитбригады спецпоезда «Комсомолец Украины», осуществлявшего двухнедельный рейд по Донецкой и Луганской областям. Это были незабываемые поездки.

Членом Национального союза писателей Украины (НСПУ) Алексей Бинкевич стал в 1992 году. Рекомендован в союз украинскими поэтами Олексой Довгим, Виктором Тимченко и Александрой Ковалёвой. На сегодняшний день из-под пера Бинкевича вышло пятнадцать поэтических сборников: «Прикосновение», (1985), «Крест» (1990), «Настежь» (1993), «Вертеп» (1996), Уильям Шекспир «Сонеты» (2001), «Сестра моя – сирень» (2003), «Клуб бубновых валетов и пиковых дам» (2004), Уильям Шекспир «Песни влюблённых» (2005), «Эротические фантазии» (2006), «И дух народа...» (2007), «Requiem» (2008), «Дагестанские ветры» (2008), «Мить» (2010) – на украинском языке, «Urbi et Orbi» (2011), «Сад божественный избранных песен» (2012).

Полувекое пребывание в литературе Алексея Бинкевича оставило след и в ряде коллективных сборников: «Родники и криницы» (стихи молодых поэтов Украины), «...Не зарастёт народная тропа» (пушкинский альбом), «На харьковском майдане», «XX век, запомни нас такими», «Харьковчане, поэма о городе». Его стихи печатаются в «Антологии современных русских поэтов Украины», в «Хрестоматії з літератури рідного краю», в антологии «Украина. Русская поэзия. XX век», в витебском альманахе «Дзвіна» и харьковском – «Благовест», в антологии «А українською – так, в перекладах Валерії Богуславської», в сборнике «Нам треба голосу Тараса», в ежегодных альманахах «Слобожанский круг», издающихся силами творческой ассоциации литераторов «Слобожанщина», членом которой Алексей является с первого дня её основания. Новые стихи периодически появлялись на страницах журналов «Прапор», «Березіль», «Слобожанщина», «Радуга», «Дагестан», «Дон», «Подъём», «Простор», «Новое время», «Славянин»...

Помню, как в 1987 году к нам с Алексеем обратился известный украинский поэт Сергей Мушник. Тогда у него в издательстве «Советский писатель» готовилась к публикации книга фронтовой лирики «Слово о полку нашем». Это была книга, посвящённая великому подвигу советского народа и «дань фронтовому сердцу и братству нашей многонациональной поэзии». Предисловие к книге писал Егор Исаев, переводили книгу Сергея Михайловича его побратим по Литературному институту Владимир Фёдоров

и талантливый поэт-переводчик Анатолий Заяц. Правда, некоторые стихи москвичам перевести не удавалось, а чтобы сохранить стройность сюжета, они должны были присутствовать в книге, и тогда-то Сергей Михайлович выбрал нас с Бинкевичем. К большому сожалению, не всё из переведённого нами, вошло в ту книгу. Мушник был очень требовательным автором, не позволявшим появляться в стихах проходным словам. Это была трудная, но очень полезная для нас работа в плане приобретения опыта и поиска своего переводческого лица. Впоследствии часть из переведённых стихов Сергея Мушника Бинкевич поместил в своём сборнике «И дух народа...». Причитавшийся нам гонорар за переводы стихов Мушника по просьбе Алексея был перечислен во всесоюзный фонд сбора средств для строительства памятника Василию Тёркину и Александру Твардовскому в Смоленске.

Готовясь к написанию этого очерка, я заново перечитала все книги Алексея Бинкевича и без тени иронии говорю: созданное им – высокопрофессионально и вместе с тем очень душевно. И это при том, что литературным трудом Алексей занимался, работая одновременно в одном из самых больших НИИ города, где за сорок три года прошёл путь от рядового инженера до главного специалиста. А имей Алексей возможность заниматься только творчеством, сколько бы сделал полезного для литературы!..

Все книги Алексея Бинкевича пронизаны духом братства, неподдельного интернационализма и любовью. Любовью к Родине, любовью к женщине, к родной земле, к близким ему по духу людям, любовью к поэзии.

Первая книга Бинкевича «Прикосновение» увидела свет ещё в последней четверти прошлого столетия. Какое это было событие не только для Алёши, но и для всех нас, его побратимов по литературному цеху! Не остались равнодушными к этому событию и литераторы старшего поколения, опалённого суровыми ветрами второй мировой: Григорий Гельфандбейн, Зельман Кац, Сергей Мушник и их младшие коллеги, серьёзно заявившие о себе в литературе: Роман Левин, Юрий Стадниченко, Роберт Третьяков, Лев Болеславский, Юрий Герасименко и Виктор Тимченко, который много лет руководил работой нашей литстудии и был председателем комиссии по работе с творческой молодёжью.

Уже в первой книге Алексей Бинкевич предстаёт перед нами не только тонким, проникновенным лириком, но и человеком с ярко выраженной гражданской позицией.

Иллюстрацией к сказанному могут быть такие стихотворения, как «Зачем ты целишься в меня», «Белая песня про красного Пабло», «Королева», «Судьба фрески», «Красный Яр», «Память», «Завещание маршала Чуйкова», «Старые песни». Здесь мы видим великого чилийского поэта Пабло Неруду и его жену Матильду, всемирно известного мексиканского художника-монументалиста Давида Сикейроса, рядовых и маршалов Великой Отечественной. Поэт, постоянно находясь в гуще жизни, пребывает в творческом поиске. Его неуспокоенное, распахнутое настежь сердце, трансформируется в поэтическое слово и предстаёт перед читателями в новой ипостаси, становясь поэзией. Он с любовью описывает «профиль дантовский» Анны Ахматовой, перед нами раскрываются страницы «вышитой книги» Игоря Муратова, появляются светлые переводы неповторимых стихов Лины Костенко:

И затерялась молодость в снегу  
среди фигурок детской карусели.

А можно ли оставаться равнодушным и пройти мимо этого заклинания – нравственного кредо непоколебимой Лины Костенко, обращённого к «певцам земли – поэтам», произнесённое от имени великого Кобзаря, ставшее дорожной картой и для нас, её современников, и для грядущих поколений:

...И помните о том, что на планете  
с тех пор, как сотворил её пан Бог,  
не знает мир эпохи для поэтов,  
а знает лишь поэтов для эпох!

Как видим, Алексей Бинкевич солидаризируется с автором процитированных строк. Мы оба, я и Алёша, относимся к творчеству Лины Костенко с какой-то одинаковой трепетной любовью, ведь не случайно переводы её стихов появились в наших первых книгах, а потом – и в книжке за книжкой. Я заметила, что в этой маленькой книжице звучит ещё одна важная для творчества поэта тема – тема музыки, раскрывающаяся в стихотворениях: «Вальс метели» с посвящением композитору Георгию Свиридову, «Варшавский сонет», «Старые песни», «Смотрю, как на новые слайды...», а венчает сборник, подобно коде, стихотворение «Музыка светлая», ставшее лейтмотивом всего его творчества:

Время придёт – на судьбу не посетую.  
Господи, прежде чем руки сложить,  
дай мне сложить её – музыку светлую.  
Музыку ту, что останется жить.

Признаюсь, мне бы не хотелось разбирать творчество Бинкевича в хронологическом порядке. Лучше – по впечатлениям и только оригинальные стихи, а том переводов я оставляю Марине Ахмедовой-Коллюбакиной – другу Алексея, отличному поэту и переводчику, в прошлом – харьковчанке, секретарю Союза писателей России, Заслуженному деятелю культуры РФ. Это она познакомила Алексея Бинкевича с Расулом Гамзатовым. И когда я недавно по ТВ услышала рассказ организатора самиздатовского альманаха «Метрополь», современного российского писателя Виктора Ерофеева о его единственной встрече с Расулом, то меня больше всего поразили его слова о том, что Расул Гамзатович был человеком необыкновенного ума и друзей выбирал по уму. И тут же я вспомнила об Алёше и Марине. Это она, Марина, постоянно помогала Алексею в поисках талантливых литературных партнёров, это она к семидесятипятилетию Лины Костенко организовала публикацию в «Дагестанской правде» огромной подборки своих и Алексея переводов из стихов юбиляра, со вступительной статьёй Бинкевича – «Юбилей Украинского гения». Материалы вызвали в дагестанской прессе шквал позитивных откликов... Это к ней, к Марине, в книге «Urbi et Orbi» обращены слова Алексея:

Привет, любимица Расула,  
позволь признаться и сказать:  
– Кинжальным словом полоснула  
твоя «Кавказская тетрадь»...

Такая же большая человеческая дружба связывала Алексея Бинкевича с «Председателем земного шара», великим сыном Украины, поэтом Леонидом Вышеславским. Я-то знала Леонида Николаевича давно, мы обменивались книгами, активно переписывались. Однажды поэт приехал в Харьков, выступал в муниципальной галерее... Я гляжу на фотографию того вечера: Вышеславский, Мельницкая, Шелковый, Бинкевич и я. Потом мы провожали Вышеславского на поезд, и Алексей передал поэту рукопись своих переводов – сонетов Шекспира. Вскоре Леонид

Вышеславский прислал вступительную статью к книге «Уильям Шекспир «Сонеты». Так начиналась тесная дружба поэтов – книги и стихи – на русском и украинском. В книжке «Мить» на украинской мове – стихи Алексея, посвящённые Леониду Николаевичу:

Приречений вже прізвищем одним  
 піднятися над славою своєю,  
 Він жив, неначе добрий херувим,  
 що грішним тілом вештавсь над землею,  
 бо в космосі свою планету мав,  
 кохав жінок і навіть пестив прозу...

А главной звездой жизни и творчества Алексея Бинкевича была и есть Лина Костенко. Ей и её дочери Оксане Пахлёвской поэт посвятил в своей украиноязычной книге следующие проникновенные строки:

Чи душа помирає, чи хтозна?..  
 Де вікує безсмертя вогонь?..  
 Спи, Кобзарю, спокійно, бо кобза  
 у руках твоїх зоряних донь.

О вкладе русского поэта Алексея Бинкевича в копилку украинской поэзии скажу предельно кратко: эта книга – ещё одна грань поэтического дарования Алексея. Стихи читаются так, словно их автор всю жизнь только и писал родной для нас украинской «мовою». Просто, как сказал Виктор Бойко, украинский поэт Алексей Бинкевич сочинить эти стихи на другом языке ни за что не смог бы:

Коли Господь нам крила дарував  
 і ми не знали, що робити далі,  
 не кожен те тяжіння подолав,  
 аби злетіти у захмарні далі.  
 Чи то й собі відмовитись від крил –  
 навіщо зайвим тягарем пишатись?  
 Шкода, що й досі я не зрозумів,  
 чи птахом, чи собою залишатись...

Думаю, что для себя поэт Алексей Бинкевич давно нашёл ответ на этот, жизненно важный, вопрос.

Почти во всех оригинальных книгах Алексея, исключение представляет «Вертеп», присутствуют переводы стихов Лины Костенко. По словам Алексея, с Линой Васильевной они

познакомились летом 1984 года в Киеве. Встреча описана в книге «Urbi et Orbi». Со временем к их дуэту подключилось виртуальное общение с Оксаной Пахлёвской. Два года назад Лёша сделал перевод романа «Записки украинского самашедшего» Лины Костенко, но дело с изданием застопорилось. И поскольку я к этой работе имею некоторое отношение, тоже переживаю. Ведь роман и на русском языке получился отличным, читается с интересом. Большой современный текст... Что ж, буду вместе с Алексеем ждать... Любовь к творчеству Лины Костенко – это любовь к Родине, потому что Костенко – и есть Украина...

А что творится сейчас в нашей стране, говорят стихи Алёши:

И ты понимаешь, что время такое,  
куда ни посмотришь – цветут лопухи.

Такое время – время лопухов. Но если бы только одних лопухов... Я беру в руки книгу «Настежь», которая вышла в издательстве Виктора Тимченко под его непосредственной редакцией. Знаю, что поэт признателен Виктору Петровичу за многолетнее тёплое отношение к его поэзии. Для меня лично, Виктор Петрович Тимченко – очень дорогой человек, мой поводырь, и я благодарна Алексею за то, что он помнит и отмечает тимченковское добро. Сборник «Настежь» – был издан десятилетием раньше «Сестры...», а стало быть, раньше переводов сонетов Шекспира и раньше «Вертепа», зато, как и все книги Алексея Бинкевича, явился значительной вехой в становлении его целеустремлённой поэтической натуры. Скромный формат, строгое лаконичное оформление выполнено самим автором: на чёрном фоне ночи оплывающая свеча с отрывающимся пламенем. На пламени – имя автора, под свечой – название книги. Кажется, в следующее мгновение сквозняк времени оторвёт от свечи пламя, ввергнув окружающее пространство во мрак, ибо всё распахнуто настежь: и жизнь, и душа, и стихи, и время! Время, плавно переходящее в Вечность. Читаем в стихотворении «Как это всё получается...»:

Время умрёт, но оставит бумаге  
музыку, жившую некогда в нас.

Этими строками заканчивался свод стихов второй книги Бинкевича «Крест», этими же – открывается «Настежь». Тот же приём был использован Алексеем ранее,

когда книгу «Прикосновение» венчало стихотворение «Музыка светлая», а сборник «Крест» «Музыкой светлой» открывался. Я подозреваю, что таким тактическим манёвром автор пользуется для того, чтобы доказать свою теорию неразрывности поэтического творчества. Алексей не раз говорил, что поэт на протяжении всей своей жизни пишет одну единственную книгу, которую публикует только частями под разными названиями, от случая к случаю. Сборник «Настежь» состоит из двух разделов. В первом – «Мне и надо от жизни всего...» – свод оригинальных стихов. Второй раздел – «Как холодно, акация цветёт» – семнадцать переводов с украинского как семнадцать мгновений и семнадцать ударов сердца поэта. Это – семнадцать переводов классика современной украинской литературы, щедро расцелованного Богом, имя которому – Лина Костенко! Первый раздел – лирика: «Благодарю судьбу, что выжил...», «Вся лирика – тебе! Ты – музыка и Муза...», «Ничем тебя обидеть не хочу...», «Свалилась с ног, лежишь с ангиною...», и цикл лирических стихов с красноречивым названием: «Медовый месяц». И, хотя по заявлению автора, «в календарях нет месяца такого», в книге присутствуют все времена года. Вот весна: «То черёмухи волглая птица / в слуховое стучится окно», «Душа, распахнутая настезь / в сирень библейскую мою», «...неужто и этой весной / сирень расцветёт не для нас?». Как всегда, здесь много осени: «Стоит перезревшая осень, / и тополь, как дождь, моросит», «И становится чуточку грустно, / будто жизнь, а не осень прошла», «Какие у осени краски, / как сочен её карандаш...», «Сквозь времена и сквозь пространства / идут осенние дожди...», «И поздняя осень, как поздний ребёнок, / под сердцем твоим заворочалась вдруг». Здесь немного благородной зимы, и я снова не могу удержаться от цитирования Бинкевича: «А там, за белым волокном – / следы собачьи под окном, / да снег в рябиновых расклёвах». Жаль, что многое из перечисленного выше в «Избранное» не вошло. А главное – в этой книге впервые по-настоящему начинает звучать тема высокой духовности и богоискания, которая позднее, в полный голос, набатно прозвучит в сборнике «Сад божественный избранных песен». «Настежь» – только прелюдия, только «эскиз поэмы» под названием «Воробьиная ночь». Да, это ещё робкие шаги по дороге, которая обязательно приведёт Алексея к храму.

Книга «Вертеп» рисует жизнь нашу откровенно. Речь идёт о девяностых годах прошлого столетия. Поэт, каким я его знаю, всегда был безразличен к политике, но время, события



меняют его мир. В «Вертепе» всё завертеплено: война в Чечне, и притоны, и дураки, и оскорбления, и фарисейство, и обиды. Там – вертеп, там люди превращаются в куклы, а ещё страшнее – в стадо, где роли поводырей бараньих отар, как и в библейские времена, исполняют козлы. Не на пустом месте возникают слова:

Скорей одолеть бы ту робость  
и вывести жизнь на излом,  
покамест не рухнули в пропасть,  
ведомые мудрым козлом.

Продолжаю читать книгу, и вдруг, неожиданно на вертеповском фоне возникают красочные видения, разыгрываемые природой с её нарождающейся зеленью, наваждением летних ароматов, промозглым осенним дождём, сменяющимся радостями зимнего снегопада. Самое любимое время года у Бинкевича – осень. И не только в «Вертепе», во всех его книгах доминирует осень, но тут – «сумасшедшая осень». Краски увядания схвачены взором поэта и не отпускают его вплоть до любимого ноября – месяца прихода поэта в этот мир. «Казалось, лишь вчера мы разменяли сорок, / а уж пришла пора растринькать пятьдесят». Значит, этим стихам уже двадцать лет?! Двадцать! А как свежо читается и сегодня:

...безумный ростовщик,  
начальник потрясений,  
ноябрь мой дорогой, я бью тебе челом.

И рядом, со светлым чувством и вместе с ним – проникновенной иронией, в «Соловьином вертепе» автор, обращаясь к птице, говорит: «И когда в звездном небе батист / облаков майский ветер растреплет, / дай мне твой ослепительный свист, / чтоб свистать в соловьином вертепе!» Немало строк, от которых саднит сердце: «На могиле моей посадите шиповник крылатый...». И уже к самому концу сборника, как в заключительных аккордах симфонии, возникает пока ещё робкая, но настойчивая тема сирени. «Сирень сиреневого цвета...», взятая в эпиграф как бы напрокат у поэтессы Веры Звягинцевой, заполоняет буйством музыки, красок и запахов всё окружающее пространство. Пока сирени немного, но вот-вот она грянет, как праздничный фейерверк, стихами новой книги, а теперь прощаемся с «Вертепом» времён демонтажа старой системы

и переходим к новым временам. И мне пора настраивать свой камертон на новую музыку, новые краски, наполняющие поэтическую мастерскую Алексея Бинкевича, где в самобытной книге, так неожиданно и смело перекликающейся названием, образами и ритмами с мотивами пастернаковских откровений, хотя строки: «Всё может померкнуть... / Не меркнет, однако, / Россия Чайковского и Пастернака», Алексей напишет в более поздней книге – «Urbi et Orbi» (Городу и Миру), ибо этим папским девизом, уже в далёком прошлом открывались Римские провозглашения... Мы же отправляемся купаться в родной украинской сирени, воспетой Борисом Леонидовичем в пору его ирпенских метаний на раздорожье судьбы...

В 2003 мне довелось редактировать одну из лучших поэтических книг Бинкевича – «Сестра моя – сирень». К стихам, собранным в сборнике, пусть и по касательной, бесспорно, имеют отношение и такие поэты, как Шекспир, Басё, Фет, Вознесенский, Евтушенко, Гамзатов, Твардовский, Костенко, Мориц. Наш друг, поэт Вячеслав Романовский представлен в сборнике переводами с украинского. Здесь и пушкинская пиковая дама с графом Сен-Жерменом, здесь творят свои полотна художники, близкие Алексею: Борис Кустодиев, Марк Шагал и наши земляки – Нина Вербук, Борис Колесиков, Николай Павленко. Здесь встречаем мы флористку Валентину Сыпченко, оригинально продолжающую сиреневую тематику в оформлении книги Бинкевича «Сад божественный избранных песен», сложив из засушенных цветов сирени известную нам всем шестиконечную звезду Давида, образно названную Алексеем в одном из стихотворений «геометрией Давида». Тут и Врубель, который «поджёт персидской болью сад». Тут виртуоз американской архитектуры Райт и великие французские шансонье Дассен и Адамо... В первом же стихотворении «Весна запоздала...» из сборника «Сестра моя – сирень», открывающем сборник, читаем уникальные слова:

И если меня соберутся распять,  
то пусть распинают на буйной сирени.

Сирень для поэта – всё: и сплошное наваждение, и сон, и пробуждение, и майский митинг, и вечность и мгновение, и первая любовь, и новое таинство – «сирень, сирень, сирень, я на тебе помешан...» Интересны названия стихотворений, раскрывающие суть творческого вдохновения автора:

«Неделя сирени», «Предчувствие белой сирени», «Ветка персидской сирени», «Сиреневый бульвар», «В сиреновом лесу сиренево от пчёл...». Интересно само название книги. Почему сестра? Ведь существуют мать, жена, дочь, подруга, все они могли бы встать в названии книги, но выбор пал на сестру! И, дочитав до конца книгу, я нашла ответ на вопрос, не дававший мне покоя: сестра — тот субъект, к которому не станут ревновать поэта все остальные. Воистину, соломоново решение. Его разномастная сирень привязана к разным понятиям и предметам, и упрямая поступь вечности настойчиво прослеживается в стихах о любви, посвящённых Оле, жене:

С каждым днём ты нежней и важней,  
как глоток ненасытной сирени.  
Перед главной святыней своей,  
словно грешник, валюсь на колени.

А перед этим мы читаем в «Первом снеге» откровенное и почти нереально-фантастическое: «Я тебя обнимаю при всех, / а над нами сиреневый снег». И в «Неделе сирени» лирический герой мысленно мечтает: «...И в сумерках знойного часа / читать откровенья Кусто, и в вкусе свекольного кваса / ловить отраженье кустов / всё той же сиреновой браги, / что над головою парит... / И слов не доверить бумаге, / когда их сирень говорит». И снова — встреча с Пастернаком. На этот раз он поставлен эпиграфом к стихотворению «Мы во вселенной не одни...».

...как на Земле, царит бедлам,  
скулит на привязи собака,  
сирень рождается из мрака,  
и умещается роман  
в неброской строчке Пастернака.

В стихах ощутима переключка с крупным произведением Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», но в отличие от прозаика, который из пастернаковской строки развернул целый роман, поэт делает то же всего лишь дюжиной отточенных строк. А вот сирень — сирень первой юношеской влюблённости в одноклассницу, мать которой читает немецкий. Лирический герой заваливает цветами квартиру учительницы, втайне надеясь обратить на себя внимание её дочерей (стихотворение «Гульда Альбертовна»). Гульдуду Альбертовну невозможно читать без волнения —

такие щемящие строки!.. По прошествии времени память поэта забредает в школьный сад, где «сирень улыбается с веток...», «соловей не уснёт до рассвета...», и он с грустью констатирует: «Старый сад, школьный сад – колыбель нашей первой любви». Для Бинкевича сирень – не просто цветок, а живое явление, живое существо, постоянно сопровождающее автора, словно alter ego. Его сирень, по образному выражению автора, «не боится соперников». С какой теплотой вспоминает поэт о друге – поэтессе Инне Клемент! Я с ней не была знакома, но знаю, что её обожали ребята из студии ДК строителей. И вот теперь поэт говорит с рано ушедшей от нас Клемент о сирени с сиренью в руках. А в финале книги помещён «Автопортрет на фоне сирени» – стихотворение, как и вся книга, поразительно глубокое, заканчивающееся словами:

На фоне сирени стареет поэт,  
сирень молодеет на фоне поэта.

Такие строчки воспринимаются нами с удивлением и восторгом, как и такое признание: «Ты, и сирень, и я – любовный треугольник, и с этим ничего поделать не могу». Вот так и я ничего не могу поделать с собой, не могу оторваться от стихов, ошеломлённая их высоким поэтическим напряжением. Мне хочется вновь и вновь цитировать понравившиеся строки, но закон жанра, словно дамочков меч, висит надо мной, требуя анализа новых страниц старых книг, собранных теперь уже под обложкой Алёшиного «Избранного».

А дальше год 2006 – «Эротические фантазии». Скажу откровенно, что само слово «эротика» мне не очень нравится, вернее, вообще не нравится. Есть в нём какая-то корявость и бестактность. Поэтому, когда получила на редактирование рукопись книги, я очень насторожилась. Но когда начала читать – не могла оторваться от сонетов, посвящённых любовным отношениям между женщиной и женщиной. Причём – во всём столько прозрачности, столько чистоты, столько страсти, что даже диву даёшься. Образ женщины – явно собирательный через жизнь. Как у мастеров прошлого, это стихи, воспевающие всех женщин мира, каждую и единственную. В начале книги автор в диалоге, идущем между героями, поясняет:

- Это всё о нас с тобою?
- Всё о нас, да не про нас...

Интересен сонет «Композитор компьютерных игр...» — это стихотворение отличается от всех других его стихов, и внутренней раскрепощённостью, и современным технологическим языком, т.е. специальной терминологией («программист», «виртуально», «глючил», «вирус», «сеть», «чат»), зато как прозрачно, по-человечески оно заканчивается:

Ты ушла. И лежал на пороге  
снег, в реальных до боли следах.

Стихам с «вулканами страсти» близка даже банальная корабельная терминология:

...где палубой я под тобой,  
где мачтою ты надо мною.

Конечно, эротическая поэзия всегда была, есть и будет: Пушкин, Барков, Кузмин, Эфрос, Евтушенко, Набоков, Кенжеев, Армалинский. Думаю, что Бинкевич, нашедший в себе мужество взяться за разработку столь щекотливого пласта литературы, заслуживает того, чтобы о существовании такой его книги узнало как можно больше читателей. И мне хочется, заканчивая просмотр книги, вспомнить слова Алёши:

Такая ночь бывает раз в сто лет,  
такая встреча – раз в тысячелетье!!!

И вот настало время вспомнить о не так давно вышедшей книге (2011 г.) «Urbi et Orbi». В ней три раздела. Первый – «Зимний вечер» — аккумулирует, в основном, стихи о творчестве, о месте поэта в обществе. Здесь мы — постоянно судящие себя, сомневающиеся в себе, философски рассуждающие о себе, о жизни, о судьбе, о времени:

...А в свои ли сани сел?  
До сих пор сомненье гложет.

В «Зимнем вечере» много об утратах. Особая утрата – потеря близкого человека, брата. Брата-поэта, брата-единомышленника, брата-наставника, брата-редактора, и когда, в конце концов, эта потеря воспринимается как данность: «И мы с сестрой о старшем брате / в прошедшем станем говорить», — автор не хочет соглашаться с данной

версией утраты, и в иронически-оптимистическом четверостишии «Венок брату» находит своё видение происходящего:

Видно, Бог избирает поэтов  
и уносит к Себе для того,  
чтоб они, и зимою, и летом,  
в небесах восхваляли Его.

Второй раздел книги — «День золотой» — напоминает мне калейдоскоп, где мы, разбросанные по миру, кружим, как электроны над ядром, а ядро — наш неповторимый Харьков, которому и посвящена книга. И дальше — люди, люди, люди... В данной книге вы не избежите встречи с Гоголем и Флобером, великой певицей Эдит Пиаф «Зачем валяться нам у ног Парижа, / когда у наших ног лежит Париж». А вот и певческие голоса слобожанского края — Ангелина Лысенко, София Махова, Светлана Сидоренко и Светлана Макаренко, которая написала около двух десятков песен на стихи Бинкевича. Здесь вы обязательно повстречаетесь с харьковской Шахерезадой, как назвал эту актрису наш легендарный Борис Алексеевич Чичибабин, — Александрой Петровной Лесниковой. И — с многолетним ангелом-хранителем Харьковского писательского гнезда — Еленой Николаевной Лукашовой, сокрытой автором за таинственными латинскими инициалами E.N.L., где поэт, обобщая, от себя и от имени многих наших соотечественников, говорит:

...мне не дано к тому прибиться берегу,  
мне здесь дано остаться без забрала.  
Колумб, ты для чего открыл Америку,  
Зачем моих друзей туда забрал, а?

На страницах книги встретимся мы с художниками-земляками Ниной Вербук и Лёшей Антоновым, который «на нашей земле Слобожанской / божественным бредил Дали», да и сам Бинкевич равнодушен к творчеству создателя сюрреалистической школы. К месту вспомнить, что книгу «Эротических фантазий» Алексея украшает одна из знаменитых работ Сальвадора Дали — «Содомское самоудовлетворение невинной девы». А мог ли автор обойти стороной художников слова? Конечно же, нет! И перед нами разворачивается целая галерея литераторов и литературных портретов: вот проходит Лина Костенко «так бронза волос кучерявилась возле чела — / могло померещиться, —

памятник шёл мне навстречу», вот павлопаса́дским поэт Александр Ананичев «для нас с тобой звучала песнь Расула», вот великая российская поэтесса Марина Цветаева «...на дворе у поэзии удавили Марину, / видно, не по России оказалось мерило», тут Владимир Маяковским и Лиля Брик. А вот перед нами возникают наши современники, наши земляки — все они здесь, поскольку харьковчане, ведь книга называется «Городу и Миру». И не случайно стихи о Юрии Левитанском повествуют о харьковских страницах жизни поэта. Не обойдены вниманием и любимый всеми нами Борис Чичибабин, актёры Анатолий Коньков и Анатолий Лобанов, фотохудожник Владимир Оглоблин... Книга замечательна ещё и присутствием в ней семейного портрета в интерьере города — это три поколения дорогих для автора женщин: музы поэта, дочери и внучки. Внучка Дашенька у него просто прелесть. Красавица четырех лет, ходит в часиках красного цвета. В стихах с эпиграфом из Бертольда Брехта автор пишет: «и над строкой трясусь, как идиот...», и дальше, заглядывая в будущее:

... хочу, чтоб мной гордилась внучка,  
сняв с книжной полки неказистый том.  
И удивилась: – Дед мой был поэтом?..

«Музыка любви» — стихи для дочери Анны. Посвящениями Оле усеяна вся книга поэта, а ещё своей музе он адресует и оба тома «Избранного». В стихах воспеты и мать, и бабушка, и тётя поэта. Стихи, им посвящённые, находим в его украинской книге — «Колискова для мами», «Баба Килина», «Клишава бона».

А теперь возвратимся в 2008 год, когда увидела свет книга Бинкевича «Requiem», посвящённая светлой памяти автора первого публичного исполнения поэмы заслуженной (в идеале — народной) артистки Украины Александры Лесниковой. Это была новая редакция старой поэмы о Моцарте и Сальери, которая долго ждала своего выхода на публику, и доработана поэтом уже после того, как была начитана Александрой Петровной на «самом домашнем радио — «Радио Слобожанщины». В отличие от радиоверсии Лесниковой, в теле книги появилась очень значительная глава «Orandus — Молитва», которая фактически является поэтическим клоном 89 псалма. Именно эту молитву Алексей и вкладывает в уста молящегося музыканта, обращающегося к Всевышнему:

Господь, спаситель наш и покровитель,  
прибежище Ты нам из рода в род.  
Вселенная – Твой дом, Твоя обитель,  
Ты – Бог, в тлен возвращающий народ...

Пришло время поговорить о книге интерпретированных псалмов. На мой взгляд, храм души поэта нашёл своё зеркальное отражение именно в сборнике «Сад божественный избранных песен». Бинкевич выращивал этот сад самозабвенно в течение одиннадцати лет, с 2000 по 2011г. Стихи отсюда он читал в разных аудиториях. Некоторые из них – профессор педагогического университета, писатель Иван Степанович Маслов опубликовал в журнале «Слобожанщина» ещё в 2003 году. Первая редакция книги была готова к 2005 году и получила положительную оценку митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, о чём последний публично сообщил на страницах «Харьковских епархиальных ведомостей», высказав пожелание, чтобы автор снабдил свою работу вступительным словом. Пожелание архиерея было исполнено, и «Сад...» увидел свет с предисловием автора, где Бинкевич поделился с читателем как историей прихода Святого писания на нашу землю, так и теми подводными камнями, с которыми автору пришлось столкнуться в процессе работы над книгой, редактуру сборника осуществил старший брат Алексея, житомирский поэт Анатолий Певко. На мой взгляд, Алексей глубоко проникся высоким духом поэзии первоначально заложенном в канонических текстах Псалтири. Возможно, его «Песни» послужат толчком к тому, чтобы, прочитав их, кто-то потянулся к текстам первоисточника.

А теперь несколько слов о второй книге Бинкевича «Крест» – первой бесцензурной книге, изданной в Харькове «за счёт средств автора», – здесь Алексей был первопроходцем. В былое время о выходе сборника поэзии с подобным названием нельзя было и мечтать... Книга получилась цельной, открытой и откровенной. В неё вошли стихи интимной и пейзажной лирики. Появились и первые крупные психологические полотна, такие как: «Осенний натюрморт», «Портрет Мусоргского, или Последние встречи с Репиным», «Попытка оправдания Галины Бениславской». Именно в «Кресте» Бинкевич впервые открывает для себя жанр поэмы. «Requiem aeternam dona eis (Дай им вечный упокой), или Крест МСМХС» – так называлась поэма, которая, после тщательной доработки, впоследствии вышла



отдельным изданием, о котором я уже говорила выше.

Пожалуй, всё из того, что хотелось сказать о жизни и судьбе моего коллеги по поэтическому цеху Алексея Бинкевича, сказано. Естественно, что все мои суждения и оценки — субъективны. Возможно, я где-то была слишком восторженной, где-то не очень строгой, понимаю, анализировать чьё-то творчество равносильно тому, что бродить по лабиринту, шараясь из стороны в сторону, стремясь выплутаться из творческих хитросплетений и постоянно сожалея, что чего-то не досказал, чего-то не заметил, а оно для автора, возможно, главное. Не сказала о многом... О темах и сюжетных линиях, разрабатываемых автором, о музыкальности его поэзии, о чувстве любви, пронизавшем сборники его стихов вдоль и поперёк, и о песенных побратимах Алексея — Наталье Дорошко, Анатолии Конькове и Валентине Кушнирчуке. Постеснялась сказать и о том, что стиль Бинкевича не перепутаешь ни с одним другим поэтом. Я не проанализировала его образной системы и фейерверка рифм, вот навскидку несколько примеров: «с ангиной — сангиной», «распятыя — раз пять я», «учинишь — ученик», «гордыни — Паганини», «света — с веток», «суде я — содеял», «Филаретовна — фиолетовый», «гормоны — неугомонный» и т.д. Упустила сообщить, что Алексей открыл для своего читателя нового, на редкость талантливого украинского поэта из Тернополя — Ганну Осадко, недавно ставшую членом НСПУ. Одним из рекомендующих был Алексей Бинкевич. А ещё не поведала о том, что он лауреат литературной премии им. Бориса Слуцкого и единственный в Украине лауреат Международной литературной премии им. Расула Гамзатова, который, кстати, и предложил Алексею вступить в Союз писателей России. Принятый в СПР в Махачкале, сегодня Алексей Бинкевич активно участвует в жизни Харьковского отделения СП России.

И, коль главное в книгах Бинкевича — любовь, его стихами о любви закончу своё вступление в книгу избранных произведений поэта.

#### ПОДРАЖАНИЕ ГАЛЬЧИНЬСКОМУ

Олечке

Люблю ли?.. И ты сомневалась в ответе?!

Я золота слов не бросаю на ветер.

Люблю тебя ныне. Люблю тебя присно.

Серьёзной, задумчивой, даже капризной.

Люблю тебя вечером, утром и ночью.  
Люблю разбирающей жуткий мой почерк.  
Люблю, когда к газу подносишь ты спички.  
Люблю, когда спишь на плече в электричке.

Люблю на реке и во время работы,  
Люблю, когда ты закрываешь компоты,  
стираешь и гладишь, грустишь и хохочешь,  
когда уморилась и петь ещё хочешь.

Люблю возле дочери, у пианино,  
с компьютером рядом и в кущах жасмина,  
когда от грозы убегаешь в испуге,  
меня возвращая на старые круги...

Ты мой горизонт.  
Мой таинственный остров.  
Люблю. И не надо нелепых вопросов.

Так любит поэт!

#### *Post scriptum*

И всё-таки я поспешила ставить точку, совершенно выпустив из виду, что в «Избранное» поэт включил новые стихи, которые ещё нигде не публиковались. Это стихи из будущей книги с рабочим названием «До востребования». Мне нравится такое название, ведь если задуматься, всё наше творчество — до востребования. Оно остаётся не востребованным до тех пор, покамест поэт не издаст очередную книгу или не опубликует произведение в периодике. Новых стихов немного. Около двух десятков. Сейчас он пишет мало, поскольку много переводит.

Переводы последнего года говорят сами за себя. Тут подборка стихов лауреата Государственной премии СССР Игоря Муратова, сделанная к столетию со дня рождения большого украинского поэта, ряд увлекательных произведений Нобелевского лауреата польского происхождения Виславы Шимборской.

Уже на горизонте замаячила книга вольных переводов ещё одного Нобелеанта — Рабиндраната Тагора «Гитанджали», что в переводе с бенгальского обозначает «Жертвенные песнопения». Кто станет отрицать, что Тагор — не «музыка светлая»?

## Борис САВИЦКИЙ

# ДОЛЯ ЛЮДСКАЯ

Сегодня объемные жанры не в большой чести. И все же харьковский прозаик Василий Омельченко отважился создать масштабное жизнеописание. Автор полагает, что каждый, однажды взявшийся за перо, должен сказать слово о своем поколении, оставить потомкам слепок души современника. Так и родилась трилогия о простой украинской семье «Жизнь моего современника». Каждая часть трилогии имеет самостоятельное значение:

— «Последние свидетели войны» — детство, отрочество, юность поколения, рожденного в СССР;

— «Марафон надежд» — молодость, зрелость, поиски праведного пути в жизни, борьба за выживание;

— «Смутные годы» — автор зафиксировал и попытался осмыслить события, происшедшие в стране, которая двадцать два года назад стала независимой. Что обрела Украина и что утратила? Какой ценой досталась так называемая свобода простым людям?

Главный герой трилогии – обыкновенный человек со светлыми помыслами. Судьба жестока к нему и он, задавленный грудой невзгод и несчастий, едва не погибает. Однако находит силы и продолжает бороться за свое место под солнцем.

После презентации трилогии «Жизнь моего современника» в Чичибабин-центре (г. Харьков) состоялась встреча с автором. Вниманию читателей «Славянина» предлагаем интервью с её автором Василием Михайловичем Омельченко.

### 1. Мы были романтиками и патриотами

— **Василий Михайлович, Вы говорили, что это ваша первая презентация в жизни. Почему? Ведь вами написано более тридцати книг...**

— Наверное, потому, что я не отношусь к публичным людям, не люблю и не умею говорить... Больше предпочитаю слушать других... И рассказывать о других. К тому же, человек я старого, советского уклада. В наше время не были в моде презентации. А когда и случались, то назывались обсуждениями. Цель обсуждения – оценить достоинства и недостатки книги, чтобы автор учел их для дальнейшей работы. Была, так сказать, борьба за качество. Теперь же главная цель – продать написанное. Творчество стало товаром, а качество, художественный уровень созданного автором теперь мало кому нужно. Базар и есть базар...

**– Почему вы решили обратиться к такому объемному жанру?**

– Знаю, что сегодня масштабные жанры не в большой чести. Но мне кажется, что каждый, однажды взявшийся за перо, должен сказать слово о своем поколении, оставить потомкам слепок души своего современника. Так и родилась эта объемная вещь.

К тому же, время от времени ощущаю перед читателем неизбывную вину, а в сердце – ноющую боль. Оттого что далеко не все написано так, как хотелось бы, как было на самом деле. Не секрет, что в каждом литераторе, рожденном в СССР, сидел невидимый, но бдительный внутренний редактор и жесткий цензор. И если ты пытался писать правду, тебя одергивали, а то и били по рукам. Редактора, читая наши рукописи, целые страницы перечеркивали крест-накрест красным карандашом: такого, мол, не было!.. Рукописи читали не только редактора издательств, рецензенты и цензура. Написал роман «Талица»... если в двух словах – о селе... Так его дали читать заведующему сельским хозяйством обкома партии... Отослал в журнал «Пионерия» повесть. С редактором, приятным человеком Сергеем Чирковым, у нас сложились хорошие отношения: все, что посылал в журнал, печатали. И вот получаю ответ, который меня огорчил, но за который я на редактора журнала нисколько не обиделся – я его понимал... Он писал, что повесть напечатать не смогут. Что мальчишки у меня «не журнальные». Дерутся, курят, «шманают», могут и выпить – и при этом хорошие ребята, положительные герои. Но если, мол, выхолостить отрицательные моменты, исчезнут важные детали. Повесть пролежала в столе несколько десятков лет. Там была правда нашей жизни. Ее-то и донес я до читателя в этой своей большой работе.

**– А ребята того времени действительно были... так сказать, не особенно примерные?**

– Шла война... Ребята жили в Сибири, в краю, где почти в каждой семье кто-то за что-то отбывал срок, где любимыми песнями были блатные, где у каждого имелась и финка, и кастет или гирька на веревочке, упряганная в рукаве, или молоток, спрятанный в дырявом боковом кармане, а потом появились и револьверы... Случались жестокие драки и вовсе не на национальной почве как теперь, а из-за девчонок и голубей. В ходу было знакомое всем сегодня слово «подколол», но с другим смыслом – то есть подрезал ножом, «пописал» с ударением на «а» – стало быть, порезал лицо бритвой, на жаргоне тех лет – «мойкой». Да, ребята пили и

курили. Но у них была высокая мечта – бежать на фронт... Они не совершали никаких подвигов, но были готовы к ним, были готовы к защите нашей Родины... Бежали и мы со старшим братом... Матери, помню, оставили записку: «Дорогая мама! Мы уехали на фронт. Не волнуйся, не переживай, скоро вернемся».

– **Так Вы воевали?..**

– Нет... До фронта нам добраться не удалось – далековато было. Нас, пятерых пацанов из Красноярска, сняла милиция с поезда под Новосибирском... И мать потом нам задала такого фронта, что мы его запомнили на всю жизнь...

– **Известно, что Леонид Быков тоже мечтал воевать и поэтому прибавил год к своему возрасту, поступил в летное училище, но был отчислен за обман...**

– Мы одного поколения... Мы были романтиками и патриотами.

– **Недавно в Москве вышла книга Людмилы Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье». В книге есть два рассказа вроде под Вашим именем. Они однофамильца или Ваши?**

– Мои... В конце прошлого года в Москве проходил конкурс, организованный Людмилой Улицкой, «После Великой Победы». Послал туда два рассказа «Чужой хлеб» и «Первые конфеты», которые и были замечены жюри и сейчас опубликованы в книге «Детство 45-53...» Это фрагменты из первой книги трилогии «Последние свидетели войны»...

## 2. Марафон надежд

– **А в чем выражалась или как выглядела романтика людей вашего поколения?**

– Ну, например, для некоторых нынешних украинских «патриотов» Сибирь – местом ссылки. Для моего поколения это было желанное место работы, место закалки характера и стартовой площадки для будущего. Если сейчас куда-то едут чтобы больше заработать денег, бросают и дом, и семью, то мы ехали за другим, как пели тогда: «А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги...» Мы не думали о деньгах. О сумме своей зарплаты я узнал лишь тогда, когда впервые расписывался в ведомости. Мне было стыдно спрашивать, сколько я буду получать. Главное, я ехал в край, где поднималась целина, строились гидроэлектростанции, железные дороги – знаменитый Бам...

– **Говорят, был БАМ не так уж и нужен...**

– Пудрят мозги... Южнее БАМа – Китай... Для многих

Сибирь – лакомый кусочек... За нее еще будет идти такая борьба...

– **Уйдем от политики... Трилогия автобиографична?**

– В какой-то мере – да. Я тоже работал в Сибири, в горах, в тайге, на горных реках... Потом в газете... Жизнь каждого человека – это и роман, и целая трилогия. Главный герой книги – обыкновенный человек со светлыми помыслами. Судьба жестока к нему и он, задавленный грудой невзгод и несчастий, едва не погибает. Однако находит силы и продолжает бороться за свое место под солнцем.

– **Вы беспощадны к своему главному герою, выворачиваете его, если можно так сказать, прямо наизнанку. Мне кажется, Вы даже не любите своего главного героя... Он не ахти какой... Вы не боитесь, что серьезный читатель его не примет...**

– Он такой, как большинство из нас... Я описал жизнь реального человека, жизнь реальной украинской семьи... Написал правду. Понимаете, как-то я обратил внимание на одну любопытную закономерность: почти все писатели (и примером тому служат классики), с превеликим удовольствием, а то и упоением, с мельчайшими подробностями описывают свое детство и начало юности, а потом героя своего предают забвению и пишут уже романы о якобы совсем других людях. Вспомните Льва Толстого, Бунина, Горького и многих других любимых наших писателей. Почему они не продолжали повествовать о своей взрослой жизни? Своей! Не потому ли, что в детстве все или почти все люди – ангелы, а потом – такие, как есть... И о том, что бывает «потом», писатели предпочитают рассказывать о якобы совершенно других людях. Потому, что если бы рассказали правду о том, как жили дальше, тот же Толстой и тот же Пушкин, читатель, привыкший молиться на этих великих, занеся руку дабы осенить себя крестом, на миг бы призадумался: а стоит ли их обожествлять? Да, они таланты, да, они гении, но... идеальны ли они, как люди? Можно ли с них «делать жизнь»? И почешет затылок: что-то здесь не то...

Есть вещи, которые люди тщательно скрывают даже от самих себя. Или что-то делают далеко не так, как нужно и стесняются своих проступков. Мы охотно судим других. Замечаем в чужом глазу пылинку, а в своем бревна не видим. Я бы сказал, главный герой моей работы – откровенность и предельная искренность. Знаю, что не принято себя цитировать, но чтобы лучше понять главного персонажа, приведу лишь одну его фразу: «Я не такой, каким вы видите

меня, я не такой, каким хотелось бы быть... а такой, каков есть... Об этом во второй книге...

– **А почему она называется «Марафон надежд»?**

– Вся жизнь человеческая – надежда. На лучшее. А наша, бывших советских людей, тем более.

Всю жизнь мы пребывали и пребываем в этом виртуальном, похожем на легкий кайф, состоянии. Вся наша жизнь состоит из непрерывной цепи надежд, маленьких и больших. Все мы – активные или пассивные участники грандиозного марафона надежд, начавшегося еще со времен царя Гороха... А если взять ближе – с 1917 года: вот свершим революцию и... вот покончим с безграмотностью и... объединим хозяйства в коллективные и... вот разгромим фашистскую орду и... восстановим разрушенное... поднимем целину... возведем великие стройки коммунизма... свершим перестройку... обретем независимость и... изберем нового президента и... новый парламент и... вступим в Евросоюз!... Или сблизимся с Россией... И заживем как люди...

### 3. Писатели ли мы?

– **Третья книга – публицистическая... Почему?**

– Так уж получилось, что со дня провозглашения Украиной своей независимости я записывал то, что с нами происходило.

Да, от художественного изображения я перешел на публицистику. На это отступление от жанра подтолкнуло меня одно высказывание Льва Николаевича Толстого. Великий писатель однажды заметил, что со временем писатели вообще перестанут выдумывать художественные произведения, что будет совестно сочинять про какого-то вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случилось наблюдать в жизни. А быть свидетелем нынешних эпохальных событий, о которых историки спустя годы напишут тома и тома... быть о ч е в и д ц е м всего этого, и не запечатлеть это документально...

Я зафиксировал и попытался осмыслить события в стране, которая стала независимой.

В газетах, как и в большинстве других СМИ, достаточно много внимания уделяется освещению жизни тех, кто находится на высшей ступеньке общества. Подробно рассказывается о том, как яростно они борются за место на

капитанском мостике, как живут, сколько получают, какие у них дома, какие взятки дают за переход из партии в партию и особенно о том, как истово они пекутся о благе рядового Украины. Иногда создается такое впечатление, будто главные люди в стране – именно они: политики, олигархи и народные депутаты, а не сам народ, которого когда-то люди почтительно называли солью земли, а теперь, он, сирота-казацкая, позабыт-позаброшен...

К тому же время идет, люди приходят и уходят, жизнь постоянно меняется, то чуть лучше становится, то снова хуже. И зачастую в угоду правящей власти меняется восприятие прошлого – упорно искажается и будет искажаться правда жизни. Как цинично утверждал Л.Троцкий, история будет такой, какой мы ее напишем... Я зафиксировал правду...

– **За которую Вас чуть не изгнали из Союза писателей?**

– Было такое... За книгу «Украина Nova». Это третья книга трилогии, доработанная и дополненная... Зашел как-то в правление союза писателей, чтобы поговорить о рекомендательном письме к премии имени Короленко. Бывший председатель (Иван Перепеляк – Б.С.) назвал мою книгу ядом для украинского народа. Скрюченным пальцем лютото стучал по книге и с пеной у рта твердил как заклинание: яд, яд, яд!.. Говорил, что я не патриот Украины, что таким тут не место, чтоб я уезжал куда хочу и – «хоть даже в Израиль». Почему в Израиль? Я с особым теплом рассказал о своих друзьях еврейской национальности. Кстати, об Олеге Гиндине, журналисте, с которым мы вместе работали в газете «Молодежь Алтая». Спасая в Оби двух девушек, он им помог добраться до берега, а сам утонул... Он недостаточно хорошо плавал... Мы дружили... Когда я однажды ехал в командировку в Кулунду (на мне был жиденький плащик и ботинки) Олег дал мне свою кожаную куртку и резиновые сапоги – говорит: «на, простудишься...» Нашего бывшего председателя областной НСПУ задело еще наверное то, что я описал, как «пеклись» обо мне в нашем союзе писателей... Я лежал в больнице – была операция... Дома раздался звонок, спросили меня, жена ответила, что в больнице... На вопрос, «кто звонит?», ответили: «Из спилки письменныкив...». И все. Даже привета не передали...

Иным правда режет глаза... Был бы тогда у меня при себе билет, кинул бы на стол. А сейчас не хочу. Не он меня принимал в союз писателей... Жестко поговорили. Я почувствовал себя чужим в родном союзе. Тем более, что бывший секретарь союза Н. В. мне даже сказал, что, когда я переступаю порог правления украинской спилки



письменныкив, я обязан говорить с ними по-украински. Я спросил: а если бы сюда зашел Булгаков, вы бы его тоже принудили говорить по-украински? И сказал, что в следующий раз я буду заходить в это заведение с переводчиком, как это делал наш один бывший высокопоставленный чиновник, когда ездил в Москву.

– **А как с премией? \***

– Я сам послал в Киев книгу... Без всякого рекомендательного письма. Через пару недель мне позвонили, что прочитали и жюри единогласно «за»... А насчет «яда»... По телефону была произнесена фраза, которая мне кажется справедливой: «Мы все для них – яд». В смысле – русскоязычные...

– **Похоже, в харьковском отделении Национального Союза писателей Украины живут не очень дружно?**

– Жили не очень дружно. Сейчас новое Правление и отношения другие, творческие, теплые.

– **Вы давно состоите в Союзе писателей... Сейчас многое в нашей жизни сравнивают с жизнью в Советском Союзе. И мы никак не разберемся, что лучше: наше вчера или наше сегодня. Как жилось писателям при советах и как сейчас?**

– Как и всем – по-разному...

– **И все-таки...**

– Как и вся Украина, литературное сообщество сейчас разделено. Существует Национальный союз писателей Украины, который, как высказался за всех бывший председатель Харьковского областного отделения НСПУ Иван Перепеляк, «перебуває в опозиції до діючої влади». Существуют и другие группы литераторов, которые не декламируют свое отношение к нынешней власти, а просто живут своей жизнью, своими литературными интересами.

– **А как жили раньше?..**

– Тогда был союз творческих людей – истинный союз писателей. Эта организация помогала литераторам заниматься творческой деятельностью и жить безбедной полнокровной жизнью. Имела издательства, в которых печатались достойные книги и в которые был закрыт доступ графоманам. Один раз в год каждый писатель мог за счет государства съездить в творческую командировку в любой уголок обширной страны и даже за границу. Для

---

\* Рішенням Президії Національної Спілки письменників України літературну премію імені Володимира Короленко 2011 року присуджено Василю Омельченко за роман-хроніку "Україна Nova" з врученням Диплома лауреата.

материальной поддержки пишущих существовал действующий литфонд (его уже нет), который имел в своем распоряжении массу Домов творчества (они распроданы), в которые писатель ездил бесплатно, дети до четырнадцати лет – тоже бесплатно, а другие члены семьи получали путевки с хорошей скидкой. В Киеве была поликлиника для писателей и их семей (продана паном Яворивским). Каждый год любой член союза мог отдыхать на море. При литфонде существовала своеобразная касса взаимопомощи, где литератор, если в семейном бюджете намечалась прореха, мог взять на определенный срок ссуду. Писатели получали гонорар, за который покупали и дачи, и машины. Писатели получали квартиры. Квартиры давали и не членам союза, но перспективным авторам. Помню, был такой в общем-то талантливый начинающий поэт Ю. Симонов. Влюбился он в молодую актрису по имени Алтынай. Хорошая была пара, писатели приветствовали их дружбу и когда узнали, что молодая чета ожидает потомства, союз писателей подарил молодоженам двухкомнатную квартиру и купил кой-какую мебель. Ю. Симонов тогда говорил мне: не было ни гроша и вдруг Алтын! Жаль только, что молодой поэт свернул с творческого пути... Но факт остается фактом: молодому таланту союз писателей шел навстречу.

При московском Литературном институте работали Высшие литературные курсы, где каждый член союза писателей, не имевший высшего гуманитарного образования, мог получить дополнительные знания.

В клубе союза писателей кипела жизнь. Обсуждались рукописи и книги, для того, чтобы помочь тому или иному автору отстоять рукопись у привередливых и не всегда объективных редакторов.

В союзе писателей проводились вечера, детские утренники, работал клуб творческой интеллигенции, собирались вместе художники, артисты, композиторы – нам было о чем поговорить. Проводились даже спортивные соревнования по бильярду и пинг-понгу. Мы сражались с журналистами радио и телестудии. Помню, я проиграл жене нашего писателя Нине Полонской...

На нашем бильярде играли Маяковский и Соссюра. Владимир Соссюра, играя, как-то пошутил: вход в литературу происходит через бильярд... Сейчас бильярд тоже есть, но на нем почти никто никогда не играет. «Инженеры человеческих душ» больше заняты заботой о том, как выпустить книгу и, главное, как ее продать. Тиражи теперь убогие: 100, 200, 300... ну 1000. Писатели ли мы? Кто

нас читает? А раньше наши книги выходили стотысячными тиражами и больше. Бывший председатель Союза писателей Украины Юрий Мушкетик в одной из бесед по телевидению сказал, что его романы издавались миллионными тиражами. Спросили – где. Он ответил, что за границей. Не сказал, что в Москве. Постеснялся... Многие теперь стесняются, что издавались в Москве, получали там образование, гонорары...

Так подробно рассказываю о прошлой жизни наших писателей потому что, чтобы на руинах строить что-то новое, лучшее, желательно хоть немного знать о том, что было разрушено.

#### 4. Доля людская

**– В третьей книге вы часто сравниваете нашу сегодняшнюю жизнь с жизнью в СССР. Но я так и не понял... Вы за ту, прошлую жизнь, или за эту, так называемую свободную, независимую...**

– Большой вопрос для многих... И для меня – тоже... Третья книга начинается со смерти Л.Брежнева, с отношения к нему людей, рожденных в СССР и определения его места в истории.

Первое, что мы сделали после его смерти, дружно много лет смеялись над ним. Это мы хорошо умеем. Сочинили массу анекдотов, в которых он выглядел не ахти как... Но, как известно, все познается в сравнении. То мы критиковали его на чем свет стоит. То вдруг появилась мнение, что при коммунизме мы уже жили, то есть при Брежневе. Учеба была бесплатной, медицина бесплатная, квартиры давали бесплатно, никто не знал, что такое безработица прочее и прочее, о чем сейчас можно только мечтать. Появился и анекдот другого типа: где Брежнев, перед смертью, завещал положить его в гроб вверх спиной, чтоб удобнее было целовать его в задницу, за ту жизнь, которую он дал людям.

Как известно, сегодня Леонид Ильич Брежнев признан лучшим правителем бывшего СССР. Там, где он жил, вновь установлена мемориальная доска, которую «умники» в свое время сняли. Собираются вернуть на место и мемориальную доску памяти Никиты Сергеевича Хрущева.

**– Похоже, люди начинают прозревать...**

– Похоже... Вот в троллейбусе слышал реплику, связанную с этими знаковыми событиями: «Говорят, что при Брежневе был застой – стабильность была!». Не согласиться с этим могут только те, кто хорошо умеет критиковать и ничего не делать. Те, кто, нагадив в родной стране, свалил

на Запад и оттуда твякает. Прав один наш земляк, которого не все любят, Эдуард Лимонов: «У нас была великая эпоха!»

Да, люди начинают прозревать... Уже по-другому смотрят на бывших правителей страны Советов. Думаю, придет время и люди поймут, что не так уж плохо было, когда пятнадцать республик дружили, когда мы ни копейки не были должны западным дядям, когда мы не разрушали, а строили. Европа объединяется. А мы все делимся и слабеем. Скоро и Украина распадется на ошметки, из которых алчный Запад слепит то, что ему нужно — буферную колонию.

— **Что Вы скажете о вступлении Украины в Евросоюз?**

— Пол-Украины ратует за вступление в Евросоюз, пол-Украины за Таможенный союз, то есть, за тесное содружество с Россией. Что нам даст дружба с Россией, мы имеем представление, с ней мы уже жили одной семьей. Были и плюсы, и минусы, положительного было больше. Что значит вступить в Евросоюз — поголовное большинство украинцев имеют такое же смутное представление, какое имели перед обретением нашей независимости. Думали, что проголосуем за свободу и завтра — райская жизнь. Такая же «райская жизнь» ожидает нас и тогда, когда мы станем законными «европейцами». Только европейская жизнь нам не светит, потому что Запад умнее нас, он нас только заманивает в ловушку, оторвет от родных корней — от России и бросит на произвол судьбы...

Когда-то, будучи президентом, Леонид Кучма признался: мы не знаем, куда идем.. Сегодня та же ситуация, мы стоим перед выбором: Евросоюз или Таможенный союз, то есть, Европа или Россия? По многим причинам Европа нам не светит, а России мы боимся...

Люди о Евросоюзе говорят: «На коммунизм мы уже надеялись, на свою независимость — тоже, теперь надеемся на Евросоюз...» Но, похоже, надеяться нужно только на самих себя. ...

— **Как вы относитесь к развалу СССР?**

— Сначала мне хотелось бы рассказать как к этому событию относится простой люд... В нашем городе в районе новой станции метро «Ботанический сад» строился высотный так называется элитный дом. Возле него была масса техники и, конечно же, несколько вагончиков — подсобки для рабочих. На стройплощадке был завидный порядок. Окна нового дома затянуты целлофановой пленкой, дабы не забрызгать чем-либо стекла, вагончики аккуратно покрашены в приятный для глаза зеленый цвет. Но на одном из вагончиков мне бросился в глаза незакрашенный

прямоугольник, на котором остались, сохранившиеся с прошлых советских времен, кому-то ненавистные, а кому-то и ласкающие взгляд буквы: « СССР» .

Можно было закрасить атрибут прошлой жизни и нарисовать трезубец. Неизвестный рабочий поступил иначе. Быть может и потому, что в этом или другом элитном доме ни ему, ни его детям никогда не жить. Как не получать квартиры и в «сталинках» и в «хрущевках».

«СССР», наверное, согревает сердце тем, кто знает, как тогда жили и для кого строили: ностальгия, конечно, есть... Многие украинцы по-прежнему больны тоской по прошлой советской жизни. Об СССР вспоминает не только простой люд, но и видные деятели. К известному откровению Михаила Горбачева о том, что не нужно было рушить великую державу СССР, а надо было провести некоторые реформы... прибавилось и запоздалое признание Л.Кравчука. «Экс-президент Украины Л.Кравчук, — сообщала одна из газет, — с трибуны Верховной Рады заявил, что не подписал бы Беловежского договора, а скорее отрезал бы себе руку, если бы знал, что в нынешней независимой Украине будет царит беспредел».

Бывший президент Советского Союза сожалеет о разрушенном колоссе СССР, первый президент Украины не в восторге от содеянного, а президент России Владимир Путин подвел черту: «Распад СССР – величайшая трагедия XX века».

На днях смотрел передачу об одной из самых богатых стран мира – Катаре, где населения-то всего 450 тысяч, но там несметные запасы газа. Так министр энергетики (фамилия не удержалась в памяти), говоря о процессах в мире, с запалом изрек в адрес бывших советских людей: «Вы дураки! Развалили своими же руками такое цивилизованное государство!...»

Но только своими ли руками?.. Это отдельный и большой разговор... Скажу только: что не смогли сделать ни Наполеон, ни Гитлер, сделала она, Америка. И сделала ловко и мудро – действительно нашими же руками... Мы сами спилили сук, на котором сидели и теперь летим в трым-тарарам...

**– Вы тоже ностальгируете по прошлой советской жизни?**

– Порой – да. Как и многие другие люди старшего возраста. Но, если быть предельно откровенным, я уже с ней прощаюсь... Есть у меня уже и другая ностальгия... Мой дед Федор (о нем я рассказал в первой книге) был истинным

трудолюбивой, жил, как и должно такому человеку, хорошему хозяину – зажиточно, за что во время коллективизации и пострадал. Все у него отобрали: коней, быков, коров, сеялки, молотилки, землю, волю – жизнь. Как кулака, арестовали, увезли куда-то и больше никто из нас никогда его не видел...

Потрафило бы моему деду жить в другой стране: Канаде, Америке или Австралии – по-другому сложилась бы и его судьба. Дожил бы он в достатке до глубокой старости, поставил бы на ноги детей и внуков. Или жил бы в родной Украине, но без всяких там революций и светлых будущих – жил бы нормально.

Конечно же, и мы, его внуки и правнуки, жили бы по-человечески. Не ютились бы в убогой «хрущевке». Зарабатывали бы столько, сколько стоит наш труд. Не влачили бы жалкое существование, а наслаждались бы жизнью.

И дети бы наши не разбредались бы по миру в поиске лучшей жизни. И мой старший сын со своей семьей не тосковал бы по родине в далекой, бедной и чуждой Аргентине.

Много губительного для народа можно было бы избежать, если бы колесо истории приостановить и покатить назад, в начало века... когда назревала революция... Или хотя бы в начало девяностых годов, когда был уничтожен СССР, нашими же руками... Но, видно, такова уж доля каждого народа – платить своим благополучием, а то и жизнью ради становления своего Отечества и блага будущих поколений.

**– Над чем Вы сейчас работаете?**

– Продолжаю фиксировать то «значительное и интересное», что происходит с нами... Грядет 25-летие независимости Украины, а это – значительный период для истории страны, а для ее народа – время осознания происшедшего и определения своего места в мире...

Сергей ШЕЛКОВЫЙ

**ХАРЬКОВСКИЕ ГОДЫ ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ**

\* \* \*

В Харькове замечательный поэт Георгий Шенгели, которого современные исследователи именуют классиком, достойно завершающим серебряный век русской поэзии, прожил довольно долго. Многие из его классического наследия зарождалось, задумывалось и осуществлялось именно в этом городе, которому судилось оставить заметный след в судьбах и биографиях и других русских поэтов: Бунина, Нарбута, Хлебникова, Есенина, Маяковского, Мандельштама, Пастернака, Асеева, Петникова, Слуцкого, Чичибабина, Евтушенко. В 1914 году, поступив летом в Московский университет, Георгий Шенгели внезапно изменил направление поступательного движения и в середине осени перевёлся в Харьков на юридический факультет здешнего университета, основанного ещё в 1805 году. Жизнь и литературное общение в Москве не сложились тогда у Шенгели с самого начала. Как минимум, ему показалось там пугающе холодно. Харьков же — заметно теплее и более, чем в два раза, ближе Москвы к родной шенгелиевской Керчи — всё это наверняка повлияло на решение двадцатилетнего студента о смене университета.

Имело ли влияние на это решение вступление России в Первую мировую войну, пришедшее как раз на время короткого обитания Шенгели в Москве? Вряд ли — фронт первых месяцев войны казался почти всем очень далёким, и общее настроение населения поначалу оставалось сугубо патриотическим и оптимистическим. Во всяком случае, 15 октября 1914 года студент Шенгели выбыл из состава Московского университета «по прошению», как свидетельствуют архивные документы. Вполне вероятно также, что причины переезда могли быть и романтическими — в Харькове вскоре Георгий Шенгели женится на ярко зеленоглазой Юлии Дыбской, дочери профессора химии Владимира Андреевича Дыбского, брата его рано умершей матери.

Профессор преподавал химические науки в том же Харьковском университете,

список лекторов для которого, кстати, в 1805 году составлял по запросу Василия Каразина никто иной, как Йоганн-Вольфганг Гёте, великий автор философской трагедии о другом химике — с магическим и inferнальным уклоном, — о докторе Фаусте. Видимо, первичный десант профессуры из Германии в Харьковский университет, да и в целом отклик немцев на призыв Екатерины осваивать просторы Российской империи, оказались столь значительными, что нынешняя Пушкинская улица в старой центральной части Харькова, где получили земельные участки сразу три десятка семей, прибывших из Германии, именовалась в течение почти всего 19-го века как раз Немецкой.

Огромный лютеранский собор Святого Вознесения, четыре ярких часовых циферблата по четырём граням его колокольни украшали начало Немецкой-Пушкинской улицы вплоть до 1958 года. До того дня, когда стараниями местных партийных холуёв времён хрущёвской «кузькиной матери» и были взорваны — к той самой, ядрёной, кузькиной и мыкиткиной, распрамати. На месте монументального храма Божьего радетели «привлекательного лица города» поспешно возвели восьмизэтажную спичечную коробку жилого дома кагэбистского ведомства — убогую, без малейших признаков индивидуальности. Увы, всё произошло именно так с этим безголовым и безбожным «благоустройством», как честно спето о Немецкой-Пушкинской в одной из первых строф моей элегии о ней, в стихах уже нынешних времён:

С яичного купола и кирпичей синагоги  
она начинается, с бицепсов «Южгипрошахта».  
А далее скорбно молчат лютеранские боги  
над щебнем Хруща богохульного. С бухты-барихты  
порушена-взорвана кирха на штрассе Немецкой,  
и дом кагэбэшный, в дизайне коробки для спичек,  
склепал на руинах обком — со всей дурью советской,  
со всем прилежаньем сержантских малиновых лычек...

Говорю здесь о Пушкинской (которой Немецкая улица стала в 1899-ом году в связи со столетним юбилеем великого поэта и открытием в сквере, прямо напротив лютеранского храма, памятника А.С.Пушкину) более или менее подробно потому, что легче всего, — да и логичней, и правомерней, —



видится мне Георгий Шенгели, харьковчанин начала прошлого века, идущим как раз по этой улице. Действительно, все пути от наёмной лачуги, от его жилья на Журавлёвских склонах, к университету и обратно неизбежно вели вдоль или, на худой конец, поперёк улицы Пушкинской. Такова уж местная харьковская диспозиция застройки. Пушкинская несомненно была и его, Шенгели, улицей — близкой ему и самим своим именем поэта, всегда остававшегося для него априори и сутью, и символом поэзии. Близкой ему несомненно и тем обстоятельством, что прямо у её истока, в двух десятках метров от её начала возвышалось тогда, столетие назад, да и прочно стоит доньше, классическое бекетовское здание Харьковской общественной библиотеки. В её лепном просторном читальном зале Георгий Шенгели провёл большую часть времени своих здешних трудов и изысканий. Об этом не раз свидетельствует и он сам, об этом говорится и в воспоминаниях его друзей и коллег того времени. Вот, к слову, четыре шенгелиевские строфы 1917-го года, харьковского периода, о рукописях Пушкина, осенявшего его творческие и пешеходные, по улице Пушкинской, маршруты:

Как нежны, как надрывно милы  
И этот пыльный аромат,  
И порыжелые чернила,  
И росчерков округлый ряд.

В сияньи Крымских побережий,  
В Михайловской тиши, — один, —  
Размашистые эти мрежи  
Сплетал мой вечный властелин.

Как выскажу? И слов мне мало:  
Здесь, где моя легла слеза,  
Его рука перебегала  
И медлили Его глаза.

И эти влажные напевы  
Неистлеваемым зерном  
Вздывают золотые севы  
На поле выжженном моем.

А вот и воспоминания, оживляющие самого Георгия Шенгели в тех библиотечных стенах, где он день за днём вставал на пожизненный путь своей «лирической присяги»,

становился поэтом, мыслителем, исследователем стиха, неустанным переводчиком мировой классики. Становился, кристаллизовался, конечно же, уже родившись, в известной мере, во всех этих ипостасях и вдохнув в себя заряды и импульсы тысячелетий истории и культуры вместе с родными ему ветрами Киммерийского Босфора. Супруги, харьковские, а затем и московские, друзья Шенгели, известные переводчики прозы с английского Александра Кривцова и Евгений Ланн вспоминают о нём в рукописи 58-го года, того самого года, в конце которого они, увы, по обоюдному решению, покончили счёты с жизнью. Вспоминают, словно бы стремясь оставить будущему своё непосредственное, и важное для них самих, свидетельство: «Худой, стройный, с матовым, оливкового оттенка, точёным лицом, с глазами большими — не то бедуина, не то индеец — появился этот юноша в просторном читальном зале Харьковской общественной библиотеки. Раньше его никто здесь не видел, стало быть, он приехал недавно. И каждый раз, когда мы видели его там — а это было почти ежедневно — он уносил от стойки к своему столу кипы книг... Он не только читал, он что-то писал, а когда отрывался от тетрадки, смотрел куда-то в пространство, не мигая, сквозь стёкла пенсне и, закрывая глаза, неслышно шевелил губами...

Вот таким мы увидели Георгия Шенгели и, как все завсегдатаи читального зала, не могли не задать себе вопрос — кто этот пришелец? Узнали мы его имя скоро, так же скоро узнали о том, что он поэт, студент юридического факультета Харьковского университета, и так же скоро познакомились с ним — познакомились, чтобы до конца его недавно оборвавшейся жизни считать близким, родным человеком этого большого поэта нелёгкой судьбы.

Шёл девятьсот четырнадцатый год. Первая мировая война уже началась. В Харькове не было литературных журналов, и харьковские газеты «Южный край» и «Утро» не очень нуждались в поэте, для которого в ту пору любовь к Верхарну и Эредиа была такой же насущной, как насущная нужда в куске хлеба...»

В Харьковском университете Георгий Шенгели учился с 1914 по 1918 год, успешно завершив курс и обретя в итоге диплом юриста. И совсем не мелочь — целые восемь лет начала прошлого века, 1914-1919-й, 1921-й и 1922-й годы, вошли в биографию поэта как годы жизни и активной работы в Харькове. Думаю, что не будет преувеличением утверждать, что именно это время молодости Георгия Шенгели, время творческих и интеллектуальных его

исканий, пора личностной «бури и натиска» стали едва ли не решающим периодом его поэтического становления. Об этих харьковских годах скупно и лаконично пишет сам Георгий Шенгели в «Автобиографии» в 1939 году: «Поздней осенью я перевёлся в Харьковский университет (где мой дядя В. А. Дыбский был профессором химии) и прожил в Харькове до весны 1919 г.

В эти годы вышел ряд моих сборников, в том числе «Гонг», имевший «хорошую прессу» и явный читательский успех. Жизнь текла напряжённо. Университет, диспуты в Литературно-художественном кружке, турне с Северяниным, знакомство с Брюсовым, Белым, Волошиным, Мандельштамом, Есениным, революция, преподавание в студии стиха Харьковского Художественного цеха, председательство в ГубЛИТО Наркомпроса, лекции в клубах, статьи и стихи в бесчисленных тогдашних газетах и журналах, углублённая работа над теорией стиха и проч.»

Но за телеграфным стилем этих автобиографических заметок Г. Шенгели, за краткой формулировкой «жизнь текла напряжённо» остаётся, не исчезая, многое, что свидетельствует и о силе характера поэта, и о его неустанном напряжённом труде, и о его редкой верности избранному пути — той верности, о которой, собственно, говорят слова, выбитые на его могильном камне на Ваганьковском кладбище: «Я никогда не изменял моей лирической присяге». Приведу ещё несколько слов из воспоминаний А. Кривцовой и Е. Ланна о Шенгели первых харьковских лет: «Он был очень горд — Георгий Шенгели. Только много лет спустя, уже в Москве (куда мы и он переехали почти одновременно в начале 1922 года), мы узнали, что бывали в 14-м и 15-м году времена, когда Георгий Шенгели лежал круглые сутки у себя на лежанке в какой-то клетушке на Журавлёвке в районе Технологического сада — лежал потому, что ему нечего было есть, а он знал, что в таком лежачем положении он сэкономит малую толику сил...»

Технологический сад, Технологическое училище императора Александра III, Харьковский Ордена Ленина и, ясное дело, имени Ленина, политехнический институт, наконец, в последние двадцать лет Национальный технический университет «ХПИ» — совсем не чужие автору этих строк наименования. С 65-го года, со студенческих лет, день за днём, год за годом, моя жизнь — этот Технологический сад, этот кампус университета, этот просторный парк, населённый размашистыми клёнами и вязами, ясенями и каштанами. Здесь в немалой мере —

пространство моей человеческой, научной, педагогической, писательской биографии. Здесь уже более сорока лет читаю лекции в краснокирпичных старинных корпусах, меченных благородной патиной времени, и в новых, склёпанных бездарней и беспородней из непритязательного стекла и бетона:

И вот, раздвинув старые аллеи,  
в краснокирпичный харьковский Версаль  
врос хмарочёс, в бетон упрятав сталь  
и тему диссертации лелея...

Читаю лекции — нет, не по филологии и поэтике, по прикладной математике и механике, по алгоритмическим языкам и программированию, — всё новым волнам-поколениям студентов. Интересно все эти годы вглядываться в живую пульсацию времён и нравов, в выражение лиц и глаз всё новых человеческих генераций. И вот в этих основательно обжитых мной координатах, в этой, кстати, самой высокой точке харьковского рельефа, неожиданно встречаюсь в один прекрасный день с Георгием Шенгели как с близким соседом по пространству и времени. Встречаюсь, сразу же ощущая эту встречу неслучайной для себя.

Прекрасно помню то необычное чувство, когда после выхода первого посмертного издания поэм Г. Шенгели «Вихрь железный» в 1988 году прочёл я в предисловии книжки только что цитированный отрывок об обитании молодого поэта на Журавлёвском склоне, «в районе Технологического сада». Прочёл — и действительно почувствовал важность для меня этой необычной стыковки с образом Шенгели в особенной, личностной для меня, точке пространства. Помню ощущение присутствия духа поэта в промозглом зимнем воздухе, когда подходя в перерывах между лекциями к обрыву Журавлёвской горы, к границе своего Технологического сада, всматривался я сквозь чёрные зимние ветки в хаос полунищих дворов глиняного склона, пытаясь угадать, в какой же из здешних развалюх мог обитать Георгий Шенгели три четверти века назад.

Хриплый Харьков, торгаш и картёжник,  
дёрнув двести, гордится собой.  
Под холмом Журавлиным художник  
спит, в обнимку с промёрзлой судьбой.

А на Лысой Горе, на Голгофе,  
за Холодной тюремной Горой,  
снеговой — свежемолотый кофе,  
и мерцает во тьме аналой...

Но вернёмся от скудельности здешних хижин, приютивших молодого поэта, от троицы главных тутошних гор, Журавлёвской, Холодной и Лысой, к большому и праздничному залу Харьковской общественной библиотеки, ныне Государственной Научной библиотеки им. В. Г. Короленко, к зданию, выстроенному в самом центре Харькова по проекту академика А. Н. Бекетова, кстати, близкого родственника Александра Блока, брата его матери. Об этом своём «втором университете» Георгий Шенгели писал: «Мои интересы лежали в области литературы, поэтики, языкознания, истории, истории культуры, словом — в среде филологической, и здесь моим «университетом» была Харьковская публичная библиотека, где я пропадал целые дни».

Лепные потолки и стены просторного читального зала не только помнят с начала минувшего века неумолимого юношу «с глазами — не то бедуина, не то индийца», но и хранят вещественные свидетельства его литературных и научных трудов. Общий читательский каталог библиотеки описывает 17 изданий книг Георгия Шенгели, из которых большая часть — его стиховедческие работы, начиная с выдержавшей семь советских изданий ликбезовской и рабкоровской брошюры «Как писать статьи, стихи и рассказы» и заканчивая основательным томом исследования «Техника стиха» (1960), вышедшим восьмидесяти тысячным тиражом уже после смерти автора. Поэтических книг Георгия Шенгели в этом читательском каталоге всего навсего три — «Гонгъ» 1916-го года, «Броненосец Потёмкин. Драматическая поэма» 1923-го года и первое посмертное издание поэзии Шенгели «Вихрь железный» (1988). Хранятся в фондах библиотеки и сочинения Байрона (стотысячный тираж), Верхарна, Гейне, Гюго (тираж - 55 тысяч) в переводах Г. Шенгели. Как будто бы и не так уж мало выходит на круг. Но и не слишком много, если вспомнить о том, что сам Шенгели называл себя автором семи десятков книг в письме 1950-го года к «глубокоуважаемому Лаврентию Павловичу» Берии. И, тем более, немного, если иметь в виду, что большая часть оригинального поэтического и прозаического наследия Шенгели так до сей поры толком и не напечатана.

По-хорошему, в фондах не чужой ему библиотеки должен

был бы присутствовать по крайней мере 495-страничный том избранных произведений Георгия Шенгели «Иноходец», вышедший в 1997 году в Москве и впервые достойно представивший оригинальное творчество поэта. И уж при совсем правильном, Божьем, а не суетно мирском, ходе мыслей и дел, — сложись издательская судьба Шенгели поближе к «гамбургскому счёту», — здесь достойно бы смотрелось ещё полдюжины разных книг писателя, включающих его обширное неопубликованное до сих пор наследие — поэтическое, прозаическое, исследовательское, переводческое, эпистолярное.

В одной из статей в Славянском Ежеквартальнике Торонто (Toronto Slavic Quarterly) публикатор «Иноходца» и исследователь творчества Г. Шенгели Вадим Перельмутер ещё в 2002 году привёл список неопубликованных произведений писателя: «Четыре поэмы, беллетризованные мемуары «Чёрный погон», неоконченный роман «Жизнь Адрика Маллисино», переводы из Бодлера, четыре десятка рубайи Хайяма, семисотстраничный трактат «Русское стихосложение», несколько завершённых теоретических работ, в частности, «Свободный стих», дневники и записные книжки, переписка, за малым исключением...

До сих пор не разысканы: «Стихи о Гумилёве», поэмы «В дежурке» и «Каменный гусь» (упомянуты в «Автобиблиографии» Г. Шенгели), немалое число стихов, расплётённых в периодике рубежа десятых-двадцатых годов». Пожалуй, и на дюжину новых книг всего этого достанет.

Однако — всё же! Значительно больше, чем общедоступный каталог, способен порадовать заинтересованного читателя Шенгели отдел редких рукописей Харьковской библиотеки, где поэт «пропадал целые дни». Здесь сохранилось десять изданий шенгелиевских книг, каждая из которых может многое рассказать об авторе и его времени не только собственно стихами и иными текстами под обложкой, но и самой своей фактурой, бумагой и шрифтами, сносками и примечаниями — большими и малыми, вещественными и метафизическими приметам дней, промелькнувших уже столетие назад.

В неприятный библиотечный картон серого колера переплетены семь ранних книжек Георгия Шенгели: «Лебеди закатные», «Гонг», «Апрель над обсерваторией», «Еврейские поэмы», «Два памятника», «Норд», «Четыре» (сборник стихотворений четырёх авторов: Игоря Северянина, Георгия Шенгели, а также харьковских поэтов

Александра Прокопенко и Диониса Помренинга). Желтеет перевозданной шершавой обложкой из плотной бумаги квадратик одесского сборника «Изразец». Серо-голубой же тканый переплёт «Планера» (1935) и светло-серый коленкор «Избранных стихов» (1939) наглядно являют заботу компартии и советского правительства о литературном процессе в «самой читающей из стран мира».

Пожалуй, теплее всего в этом библиотечном собрании излучают слабеющие флюиды прошлого две маленьких книжки – «Лебеди закатные», Поэзы III, книгоиздательство «L'oiseau bleu», Петроградъ, 1915 и «Гонгъ», то же издательство, тот же Петроградъ, 1916. Под ярко-розовой, сохранившейся от оригинала, бумажной обложкой, «Лебедей», на титуле тоненького сборника – дарственная надпись Георгия Шенгели: «В Харьковскую общественную библиотеку от автора». Авторская надпись столетней давности – старыми чернилами, остроклювым стальным пером. Четыре слова, оставленные изящным тонким почерком – «волосая музыка воды», отголосок едва лишь пробившегося наружу поэтического ключа 1915 года.

Второй автограф Шенгели, сохранившийся на титуле «Гонга», вышедшего через год, в 1916-ом, почти повторяет первый: «В Харьк. Общ. библи. от автора». Повторяет, как видим, с некоторыми небольшими, но, вероятно, и неслучайными сокращениями. Похоже на то, что юный 22-летний Шенгели уже устал от множества автографов, проставленных им на первом развороте «Гонга». И правда, эта книжка, напечатанная, да и написанная, скорее всего, преимущественно в Харькове, принесла её автору большой и памятный успех. Георгий Шенгели довольно подробно вспоминает о событиях того года: «Весною 16-го года вышел мой «Гонг» – довольно слабая, хотя и звонкая книга, имевшая неожиданно значительный успех. Подвал Айхенвальда в «Речи» сразу сделал меня «знаменитым». Выступая со стихами из «Гонга» в Петербурге на одном из вечеров Северянина в громадном, до отказа набитом зале Городской Думы, я вызвал овацию, бисировал четырнадцать раз; в антракте несколько сот экземпляров «Гонга» были раскуплены (в фойе стоял столик с книгами Северянина и моими), и в «артистическую» ломились юноши и девушки с белыми томиками в руках, прося автографов. Мне было только двадцать два года... Я послал один экземпляр «Гонга» Брюсову с почтительной, но сдержанной надписью.

Осенью шестнадцатого года я был в Москве. Мы с Северяниным совершали наше большое и последнее турне.

Я решил познакомиться с Брюсовым. Добрался до его квартиры на 1-й Мещанской (на этом доме № 32 сейчас находится мемориальная доска). Окна первого этажа были освещены, и в одном я увидел фигуру поэта, мгновенно его узнав. Через минуту я уже входил в его кабинет — большую низкую комнату, уставленную книжными полками, шедшими не только вдоль стен, но и перпендикулярно к ним...»

Началась эта первая встреча Георгия Шенгели с Брюсовым разговором о «Гонге»:

«Вы талантливы, — сказал Брюсов. Я окунулся в розовое масло. — Но Ваш «Гонг» ещё не книга. Там слишком много чужих голосов. Стихи — интересные, звучные, но всё это — бенгальский огонь, пиротехника. Я окунулся в оцет. — Вы спешите. Переживание Вы заменяете воображением...»

Да и завершился тот московский визит Шенгели к верховному жрецу символизма, «чьи стихи — как бронзолыбы», неожиданным выпадом Брюсова в адрес «Гонга» и его автора:

«Провожая меня в прихожую и помогая, как я ни увёртывался, надеть мою студенческую шинель, Брюсов нанёс мне ещё удар:

— А почему, — спросил он, — на Вашем «Гонге» значится «Петроград», тогда как печаталась книга в Харькове?

Брюсов был совершенно прав, обличая моё маленькое и невинное, но всё-таки жульничество. Дело в том, что книги, изданные в провинции, встречались публикою и критикою недоверчиво и раскупались плохо, — и меценат, снабдивший меня деньгами на издание «Гонга», присоветовал напечатать обязательное указание адреса типографии мельчайшим шрифтом в конце книги, а на титуле и обложке тиснуть «Петроград» и название несуществующего издательства «L'oiseau bleu» («Синяя птица»). Так делали многие, и так, конечно, делать не следовало. Но Брюсов всё-таки был жесток. Я разозлился и ответил дерзостью:

— Потому же, почему Ваши «Семь цветов радуги» означены: «Книгоиздательство Некрасова, Москва», а печатались в Ярославле.

Это было точно, но здесь заключался софизм: издательство действительно существовало и действительно в Москве.

Брюсов улыбнулся, как боец, умеющий оценить удачный удар противника, и сказал:

— А ведь верно!

Мы простились, и я унёс в ненастную московскую ночь смешанное чувство встревоженности, умиления и досады,



– и твёрдо решил издать мою злую брошюру о «Двух «Памятниках»».

Догадаться об условности книгоиздательства «Синяя птица» и обозначения «Петроград» на обложках харьковских книг Шенгели 1915-1918 годов, можно и помимо этого признания автора. Стоит только присмотреться к «Лебедям закатным», «Гонгу», «Апрелю над обсерваторией», «Двум «Памятникам» из сегодняшнего собрания Харьковской библиотеки им. В. Г. Короленко. На двух сохранившихся оборотных сторонах обложек этих раритетов и вправду можно прочесть «тиснутые» буквами миллиметровой, не более, высоты названия издательств в Харькове и Феодосии. Обещанное выше Георгием Шенгели издание «Двух «Памятников», сравнительного исследования стихотворений Пушкина и Брюсова с этим названием, появляется в Харькове в 1918 году, снова в «Синей птице». Здесь же, в 1919-ом году, уже в реальном харьковском издательстве «Гофнунг», выходит его сборник «Еврейские поэмы», переизданный позже и в Одессе. Собственно и поэтический сборник «Раковина», выпущенный первым изданием в Керчи, К. Ю. Постоутенко, активный публикатор и исследователь творчества Г. Шенгели, определяет как харьковское издание: «Раковина» (Пг., [Харьков], 1918).

Многое из наработанного Г. Шенгели в каждодневных библиотечных трудах и вдохновениях харьковских лет было напечатано в последующие два года его одесского периода биографии. Так, о впервые вышедшем из печати в Одессе в 1919 году «Трактате о русском стихе», существенно тогда сокращённом, Шенгели писал ещё 1 января 1918 года М. Волошину, что этот его «Трактат» «разрастается в 500-страничный том».

Молодые харьковские годы Георгия Шенгели, наполненные его редкостной творческой энергией, отмечены не только написанием и изданием семи-восьми книг (напечатанный 1918 году в Керчи сборник стихов «Раковина» в любом случае логично отнести к харьковскому периоду), множеством публикаций стихотворений и статей в периодике, но и его активной организаторской и издательской деятельностью.

Научный сотрудник Харьковского Литературного музея О. Резниченко приводит показательные данные о работе Г. Шенгели в эти годы: «К 1916 году вокруг Шенгели образуется постоянный круг людей, пишущих стихи и желающих заниматься их изучением. Среди них А. Б. Гатов, Н. Лезин, П. Б. Краснов, С. Губер, А. Прокопенко, Д. Помренинг, Ю.

Ратлер, Ю. Соколовская, Е. Новская, З. Сохацкий. В 1916 году они выпускают альманах «Сириус». Как официальное творческое объединение Литературно-Художественный Кружок просуществовал с 1917 по 1919 год. В 1917 году Кружком издается ежемесячник «Ипокрена», в 1918 выходит «Камена», в 1919 – журнал «Творчество»...

В альманахи и журналы, связанные с Художественным Цехом: «Парус» (1919), «Художественная мысль» (1922), «Художественная жизнь» (1922-1923), – помещают свои произведения М. Волошин, О. Мандельштам, В. Нарбут, А. Ахматова. Из старшего поколения писателей в журналах печатались Ф. Сологуб, А. Белый, А. Блок, А. Ремизов. Публиковались малоизвестные, забытые, не включенные в собрания сочинений произведения писателей прежних веков. В отделе критики этих журналов работали ведущие филологи и искусствоведы, пользовавшиеся авторитетом далеко за пределами Украины. Рецензии на выходившие поэтические сборники, статьи по общим вопросам развития литературы печатали в них Ф. И. Шмит, И. И. Гливенко, А. И. Белецкий, М. И. Самарин, Г. Таманин, В. А. Блюменталь-Тамарин, Е. И. Булгаков, С. М. Кульбакин, В. С. Рожицин, А. С. Сандомирский и другие».

В Харьковском литературном музее описано около четырёх десятков единиц хранения документов, связанных с Георгием Шенгели. Львиную долю этих материалов составляют копии 28 фотографий из архива Г. Шенгели, полученные музеем от ЦГАЛИ. Но здесь также – и два листа рукописей поэта, и изданные в Харькове журналы «Ипокрена» 17-го года и «Творчество» 19-го, где напечатаны стихотворения Шенгели. Большая часть фотографий является, по-видимому, неопубликованной. Особенно интересны: снимок поэта приблизительно в четырёхлетнем возрасте, его портрет в полный рост в форме гимназиста, то есть свидетельство керченских времен, с сохранившейся в нижней части паспорта витиеватой строкой названия фотоателье «Бр. Резниковы Керчь». Очень выразительны также два фото харьковского периода: 1914-го года – вместе с его первой женой Юлией Шенгели (это её изображение не идентифицировано, насколько мне известно, но и возраст, и опубликованные описания её внешности, да и помеченные полудетской серьёзностью и сосредоточенностью выражения обоих лиц, вполне соответствуют предположению, что перед нами снимок молодой семейной пары).

И к сердцу одному привычен,  
В него я восемь лет входил  
И, успокоен, безразличен,  
Оставил в нем и пыль, и пыл.  
Иное сердце предо мной...

Так напишет Г. Шенгели в Москве в июле 1922 года о своём, тогда уже восьмилетнем, браке с Юлией, стремительно идущем в тот момент под уклон. Напишет, оставаясь честным перед собой и перед словом, с документальной точностью — о «первой измене и последней любви», о своей второй жене Нине Манухиной. Но это произойдёт ещё не скоро, спустя революции и войны. А на харьковском снимке 1914 года — два очень молодых лица (ему — 20 лет, ей — 18) полны некой особенной задумчивости.

Среди названных литмузейных фотографий бросается в глаза и, пожалуй, единственная из всего набора шенгелиевских снимков, жанровая сценка 1915 года, где молодой Георгий, в студенческой шинели и в фуражке с кокардой, сидя на скамейке на пленэре, держит на коленях некую конструкцию из двух бутылок вина, ещё обёрнутых в магазинную бумагу, и бодро направленного вверх штопора. Под козырьком университетской фуражки, под кокардой из двух скрещённых листьев — неизменное пенсне Шенгели со шнурком справа, а на губах — полуулыбка, единственная, которую мне удалось обнаружить на его лице, рассматривая снимки всех его лет.

Две рукописи Георгия Шенгели из фонда музея относятся к 1943 году, ко времени пребывания его в эвакуации в столице Киргизии городе Фрунзе. Обе рукописи переданы в музей вдовой харьковского поэта А. Ф. Кравцова (1915–1983) после его смерти. Первая из рукописей — лист стандартного размера, снизу доверху заполненный чёткими, идеально ровными строками письма в ЦК ЛКСМ Киргизии. Послание написано тёмно-лиловыми, близкими к оттенку красного, и до сей поры яркими, чернилами — весьма «пушкинским» по начертанию почерком Шенгели. Это, по сути, рецензия на рукопись поэмы Александра Кравцова «Бессмертие», посвящённой героической теме краснодонской «Молодой гвардии», и рекомендация этой поэмы к печати.

Документ заверен внизу листа бледной круглой печатью ЦК Киргизского комсомола, и, видимо, сыграл свою роль рекомендации, поскольку поэма А. Кравцова была выпущена в 1944-ом году отдельным изданием, став второй книгой в

его писательской биографии после первого сборника стихов 41-го года с характерным для того времени верноподданническим названием «Письмо к Ворошилову» (А. Кравцов был уроженцем Луганска).

Текст второй музейной рукописи Шенгели, меньшего объёма, полагаю, может быть, приведён здесь полностью:

Договор

г. Фрунзе 29/Х - 1943 г.

Мы нижеподписавшиеся Шенгели Г. А. и Кравцов А. Ф. заключили договор на следующее:

Шенгели Г.А. и Кравцов А. Ф. берут на себя обязательства в течение года, начиная с ноября 1943 г., по ноябрь 1944 г. изучить следующие языки: Шенгели Г.А. туркменский язык, Кравцов А.Ф. французский язык.

Настоящий договор может быть действительным, если два подписавшие его в течение одного года научатся свободно читать и переводить при помощи словаря. Невыполнение настоящих обязательств будет рассматриваться, как пустые обязательства

Подписи: А. Кравцов

Г. Шенгели

г. Фрунзе 29/Х - 43 г.

Временная ставка Шенгели, Б. Степовая 49

Вряд ли А. Кравцову удалось выполнить взятые на себя в этом договоре обязательства. Во всяком случае, его переводы с французского никогда не публиковались. Что же касается Шенгели, то Георгий Аркадьевич сполна оправдал свою подпись, поставленную под договором. В 1945 году был издан его перевод туркменского народного романа «Шасенем И Гариб. Народный Дестан», выполненный совместно с женой Ниной Манухиной. Для Шенгели, конечно же, представлялось намного более реальной задачей исполнить своё обязательство — изучение языков он ощущал с юности как свою внутреннюю потребность. Работа с поэзией и прозой на разных языках — воистину дело всей его жизни. Ещё тринадцатилетним мальчиком он начал этот путь с перевода «Аскольдовой могилы» на изучаемый им тогда эсперанто. Дальше — больше: объём выполненных им поэтических переводов мировой классики он сам оценивал ещё в статье «О моей работе» 1951-го года в более чем сто сорок тысяч, строк.

Показателен пример из крымских воспоминаний Семёна

Липкина: «Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татаринном на его языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше. Он хорошо владел английским, французским, немецким, латынью». А друг юности и всей жизни Г. Шенгели, засекреченный советский физик-академик Сергей Векшинский, вспоминал, что ещё в гимназические годы в Керчи, Георгий, всерьёз увлечшись стиховедческими исследованиями, «недели и месяцы» усиленно изучал не только немецкий и французский, греческий и латинский, но и арабский, дабы вникнуть в фонетику и метрику стиха в их самых разных проявлениях.

Что же касается журналов «Ипокрена» и «Творчество» со стихами Г. Шенгели из фондов Харьковского литературного музея, то эти два пожелтевших и охрупченных временем экземпляра, — конечно, лишь небольшая часть харьковских изданий того времени, в которых он постоянно печатался как поэт и критик. Среди этих изданий и журнал «Парус» с его рецензией на сборник «Иверни» М. Волошина, здесь же и два номера «Путей творчества» Г. Петникова со стихами Шенгели. В этом же ряду и его публикации почти во всех 18 номерах журнала «Колосья», издателем которого являлся приват-доцент Харьковского университета В. С. Рожицын (1888–1942). Отдельное фото В. Рожицына, кстати, так же, как и фотопортреты В. Нарбута и Е. Ланна, входит в тот, выше названный, набор 28 копий фотодокументов из архива Г. Шенгели, который был передан из ЦГАЛИ харьковскому музею.

\* \* \*

В мае 1919 года Г. Шенгели командирован из Харькова в Севастополь в качестве «комиссара искусств». «Летом, однако, — пишет Г. Шенгели в той же «Автобиографии» 1939-го года — Крым был эвакуирован; мне пришлось скрываться. С фальшивым паспортом, выданным мне Севастопольской парторганизацией (паспорт до сих пор хранится у меня), я пробрался в Керчь, затем осенью в Одессу, где прожил почти два года».

Творческой и организаторской активностью Шенгели, его редкостной интеллектуальной производительностью, которые окрепли и сполна уже проявились в 1914-1919 годах в Харькове, отмечено и время пребывания его в Одессе. В своей литературной работе он по-прежнему остаётся неутомимым и полным энергии, несмотря на политическую чехарду, на непредсказуемые и опасные смены режимов и

властей. Работает день за днём — даже вопреки трагедии, постигшей его семью как раз в этот период, в декабре 1920 года, — расстрел в Керчи двух старших братьев Г. Шенгели Евгения и Владимира, офицеров Добровольческой армии.

С января 1920 по август 1921 года Г. Шенгели является главным редактором Одесского Губиздата. В 1919 году в Одессе им опубликованы отдельными изданиями драматическая поэма «Нечаев» и «Трактат о русском стихе. Ч.1.: Органическая метрика». В 1920 году вышли «Избранные сонеты» Ж.М. де Эредиа, переведённые Г. Шенгели («перевод сорока сонетов, сделанный уже довольно твёрдой рукой, хотя и далекий, конечно, от блеска оригинала...», по его же собственному определению) и второе издание его «Еврейских поэм». В 1921-ом напечатаны драматическая поэма «1871 год» и сборник стихотворений «Израец», та самая книжка, желтушно-бумажный квадратик которой, размером меньше ладони, можно и сегодня подержать в руках в отделе редких рукописей ГНБ им. Короленко. Конечно же, основная часть «Трактата» наработана Г. Шенгели ещё в Харькове (смотри выше цитату из его письма к М. Волошину), так же, как и переводы из Эредиа, о которых вспоминают А. Кривцова и Е. Ланн ещё в связи с самым ранним харьковским периодом поэта.

Здесь же в Одессе в 20-ом году было положено начало и циклу сонетов Г. Шенгели, которые занимают особое место в его творчестве. Этот цикл вполне заслуживает наименования постгойевских, близких к фантазмагории, «Капричиос» поэта. Эти стихи — воплощённые в безупречную классическую форму страшные картины гражданской войны, кровавой междоусобицы, безжалостной бойни, очевидцем которой пришлось быть Шенгели в 1918-1921 годах в Харькове и Керчи, в Севастополе и Одессе. Уже сама стыковка совершенной поэтической формы сонетов с описанием в них сцен безудержного насилия, разрушения и жестокости несомненно являет собой сильный стилистический и психологический ход. Вряд ли следует видеть в этом жесте признаки какой-либо авторской отстранённости. Скорее, здесь и звучит, и молчаливо насыщает собой контекст интонация боли и горечи, бесконечного сожаления. Эти сонеты не отпускают Г. Шенгели ещё долгое время, требуя возвращения к себе и авторской правки и в 33-ем, и в 37-ом годах. Цикл хронологически открывается как раз выразительной харьковской зарисовкой 1918-го года «Дух» и «Материя»:

Архиерей уперся: «Нет пойду!  
С крестом! На площадь! Прямо в омут вражий!»  
Грозит погром. И партизаны стражей  
Построились — предотвратить беду.

И многолетье рявкал дьякон ражий,  
И кликал клир. Толпа пошла, в бреду,  
И тяжело мотаясь на ходу,  
Хоругвы золотою взмыли пряжей.

Но, глянув искоса, броневики  
Вдруг растерзали небо на куски,  
И в реве, визге, порсящем гоне —

Как Медный Всадник, с поднятой рукой, —  
Скакал матрос на рыжем першероне,  
Из маузера края вдоль Сумской.

В этот шенгелиевский цикл чёрно-белых сонетов-гравюр глубокой и выразительной резьбы входят: «Комендантский час», «Своя нужда», «Мать», «Короткий разговор», «Самосуд», «Провокатор», «Валяло круто. Тёмно-ржавый борт...», «Интервенты», «И эти здесь! Потомки Мильтиада!», «Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска...» Наверное, примыкают к ним тематически и интонационно и стихи 19-го года «Последний раз могиле поклонились...» и «Нищий», дополняя ту же фантазмагорическую картину судного часа:

На фронте бред. В бригадах по сто сабель.  
Мороз. Патронов мало. Фуража  
И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа,  
О пополнениях взывает кабель.  
Здесь тоже бред. О смертных рангах табель:  
Сыпняк, брюшняк, возвратный. Смрад и ржа.  
Шалеют доктора и сторожа,  
И мертвецы — за штабелями штабель...

Безжалостно зоркие и честные свидетельства апокалиптических дней, показания очевидца и поэта, человека, стоявшего у последней черты — с раскрытыми глазами и с будто бы заживо вырываемым сердцем. Однако здесь не только подлинные картины торжества бесовского промысла, выхваченные из мрака чутким объективом художнического зрения. Здесь возникают, словно бы завершая на ноте почти невыносимой силы весь цикл, и

философские обобщения поэта поистине библейского звучания. И появляются они в стихах, родившихся хронологически сразу же вслед казням двух старших братьев Г. Шенгели, их расстрелам 4 и 12 декабря 1920 года в Керчи. Судя по всему, к моменту написания 5 января 1921 года стихотворения «Нет воздуха...» «мрачная весть об убийстве его братьев, двух молодых людей, полных сил и надежд, едва только достигших своего тридцатилетия, уже добралась к Георгию из Керчи в Одессу. И для меня, вне всяких сомнений, эти стихи Г. Шенгели звучат реквиемом, затаённым плачем — по его родным, по несчётным убиенным всея «огромной тишины»:

Нет воздуха, — в огромной тишине  
И песнь, и парус повисают пусто, —  
Ни высказать, ни двинуться нельзя  
В неизъяснимой ясности заката...  
Нет воздуха, — и что бы ни сжигать:  
Овец ли Авеля или зерно  
Его убийцы, — ни огня, ни дыма  
В пустыне не взовьется в небеса, —  
И Богу будет нечего ответить...

И эти сны, а порой и галлюцинации наяву, о том, что «Богу будет нечего ответить...», сны о тысячах расстрелов, о его собственных арестах и приговорах, станут преследовать Георгия Шенгели все оставшиеся три с половиной десятка лет его жизни. И нередко отзываться в тайном слове его стихов — не то, что не подлежащих озвучиванию, но и смертельно опасных для самого автора. Таких, например, стихов, как «Грозный сон» августа того же, соседствующего с казнью братьев, 21-го года:

И грозный сон тогда тебе приснился:  
Закат невыносимый плещет в небо,  
И Богоматерь в аспидном плаще  
Над пламенем кипящим возлетает.  
Обожжено янтарное лицо,  
Бездонны водоёмы глаз, и кроет  
Она плащом недвижимого Младенца.  
Багряный ветер раздувает плащ,  
Соскальзывает он, Младенец виден, —  
И не её Христос, а твой Исидор.  
И сердце обрывается, и руки  
К Похитившей с мольбой неизъяснимой  
Стремятся. А Она, а Богоматерь,



Запахивает с сердцем плащ и, круто  
Вдруг, обратясь, уносится в закат...  
Ты ринулась, проснувшись, к колыбели.  
Спокойно всё, ребенок ровно дышит, –  
И всё-таки ты всей душою знаешь:  
Недолго жить ему.

Сны Г. Шенгели, начиная с двадцатых годов, и все последующие десятилетия остаются грозными и неотступными:

Вчера мне снилась мертвая вода,  
Сияющие мутно водоемы,  
Такого цвета, как глаза щенят  
Молочных. А вокруг песок и щебень,  
И солнце бесится...

Но продолжающаяся явь поэта, его будни заполнены до отказа, как и всегда прежде, неустанными трудами – и во исполнение творческой присяги, да просто напросто во спасение собственной души.

«Осенью 21 г. я возвратился в Харьков, зиму проработал над переводом Верхарна и весной 22 г. переселился в Москву, где живу до сих пор.

С этой поры жизнь «становится на рельсы» – пишет Шенгели скучным телеграфным стилем, продолжая ту же «Автобиографию» 39-го года.

По поводу последней харьковской осени и зимы Шенгели уточню только, что, конечно же, он не только упорно работал над Верхарном, но и оставался, как обычно, активным действующим лицом текущего литературного процесса (назову лишь его публикации в двух октябрьских номерах харьковского журнала «Новый мир» в 21 году: «Вечер, посвященный Ахматовой» и «Дракон. Альманах стихов»).

Относительно же бодрой формулировки «жизнь становится на рельсы», связанной с переселением поэта в Москву, необходимы существенно более серьёзные уточнения. Да, конечно, если судить по внешней канве московских событий, литературная карьера Шенгели с переездом в столицу постоянно движется в гору: «В 22 г. в ГИЗе выходит полностью первая часть «Трактата о русском стихе». Результат – получение кафедры стиха в Брюсовском Институте и избрание действительным членом Государственной Академии Художественных Наук. Выходит большой сборник «Раковина» и драматическая поэма

«Броненосец Потёмкин». Далее — серия книг Верхарна. Преподаю на Высших Литкурсах Главпрофобра, короткое время — в 1 МГУ на творческом отделении Этнофака.

В 25 г. меня избирают председателем Всероссийского Союза Поэтов и переизбирают дважды — по 27 г. включительно» — перечисляет он сам свои творческие и карьерные достижения, продолжая «Автобиографию». Но слишком многое остаётся за вывеской, за фасадом трёх страниц сухого автобиографического рапорта, предназначенного, очевидно, в первую очередь для официозного чиновничьего прочтения и для желаемых оргвыводов.

Вот совсем иные — противоположные и по сути, и по интонации изложения, слова Г. Шенгели, взятые из переписки с его многолетним корреспондентом, поэтом и очеркистом Марией Шкапской, причём, слова, взятые из двух посланий, 23-го и 32-го годов, то есть, отражающие весьма стойкую внутреннюю реакцию Шенгели на его, казалось бы, внешне вполне благополучное продвижение по московским литературным траекториям и табелям о рангах: «Тут — сутолока, подлый Госиздат, невозможность найти в Москве христианский обед (везде «шти», у-у, подлое слово!) и серьёзно — гнуснейшее настроение. Судьба.

В город чужой занесла меня  
Бросила в холод меня,  
В чужие стихи подлила огня,  
Подлила моего огня.

Дни убавляются. Верхарн не хочет убавляться, холод прибавляется, — тяжело...» (15 декабря 1923 г.)

И из второго письма, почти восемь с половиной лет спустя: «Через три дня исполняется десять лет с момента переезда в Москву, — будь проклят день, когда я решился на этот переезд. Десять лет почти совершенно бесплодных — ни одной настоящей работы, жалкая пачечка стихотворений, ведро валерьяновых капель, веронал, неврастеническая тоска — по морю, по солнцу, по свободе, по хорошему мужскому разговору и пр.» (19 марта 1932 г.).

Причины неизбежности тоски и печали Г.Шенгели, звучащей в этих письмах, заключались, конечно, далеко не только в бытовых неурядицах, в подковёрно-коварных пассажах, в ревности и дразгках коллег по литературному процессу, не только в риторическом, полном сарказма, вопросе:

Разве можно тут жить, в Москве,  
С вечным дребезгом в голове?  
Тут портянкой закрыт зенит,  
Тут, как зуд, телефон звонит,  
Тут, в чертогах библиотек,  
Нужных книг не найдешь вовек...

Причины душевного разлада поэта были глубинными и определялись самой сутью пространств и времён, выпавших на долю художника, учёного, мыслителя и честного человека Георгия Шенгели. Уничтожение людей культуры, искусства, науки оставалось все годы, начиная с 17-го, неотъемлемой частью политики тоталитарного большевистского режима. Лучшие, наиболее даровитые и сильные, уничтожались физически — расстрелами, лагерями, измором-голодом, доведением до самоубийства или же чекистской имитацией суицида. Более слабые уничтожались морально — перекраивались серпом, перековывались молотом и так или иначе служили лживому и преступному режиму.

В литературе этот долгий перечень загубленных лучших людей страны начинался с расстрела Николая Гумилёва в конце августа 21-го года (вместе с ним расстреляны ещё 60 человек, якобы участников белогвардейского заговора) и с гибели в начале того же месяца от отчаяния-прозрения Александра Блока, поначалу обольщённого «белым венчиком из роз», а к 21-му году уже ясно разглядевшему истинный кроваво-багровый колер всех фальшивых украшений варварской власти. Десятилетие за десятилетием искусственно нагнетаемые кампании классовой борьбы и очередные приливы и припадки борьбы внутрипартийной требовали всё новых и новых жертв из среды интеллигенции, людей искусства и науки: Н. Клюев, С. Клычков, П. Орешин, О. Мандельштам, В. Нарбут, М. Цветаева, И. Бабель, Б. Пильняк, П. Флоренский, Д. Хармс, А. Введенский, Б. Корнилов, П. Васильев и многие другие литераторы с менее славными именами были безжалостно уничтожены людоедским режимом. Прошли адовы круги лагерей и тюрем писатели Н. Заболоцкий, Д. Андреев, Л. Гумилёв, В. Шаламов, А. Солженицын, Б. Чичибабин, Я. Смеляков, А. Жигулин, конструкторы С. Королёв и А. Туполев, выдающиеся учёные А. Чижевский и Н. Вавилов, погибший в заключении.

Я не знаю, почему,  
Только жить в квартале этом  
Не желаю никому,  
Кто хотел бы стать поэтом.  
Здесь любой живой росток  
Отвратительно расслабит  
Нескончаемый поток  
Тайных ссор и явных ябед.  
Здесь растлит безмолвный мозг  
Вечный шип змеиных кляуз,  
Вечный смрад загнивших Москв,  
Разлагающихся Яуз.  
Здесь альпийского орла  
Завлекут в гнилые гирла  
Краснопресные мурла,  
Москворецкие чувырла...  
Потеряв способность спать,  
Пропуская в сердце щелочь,  
Будешь сумрак колупать  
Слабым стоном: «сволочь, сволочь!»

Очень показательны эти слова, вырвавшиеся из недр души Г. Шенгели в начале 30-ых годов в московском трамвае у Яузских ворот. И наверняка звучащие здесь определения, следует отнести далеко не только к неким «явным ябедам и участникам тайных ссор», оппонентам по текущим бытовым и литературным дискуссиям. Не имея возможности назвать открыто, кем же по сути являются эти «сволочи, мурла и чувырла», Шенгели несомненно осознаёт, что вся эта нечисть, гниль и пагуба, в первую очередь, плодится полновластными хозяевами новой жизни — самим «кремлёвским горцем» и его «сбродом тонкошеих вождей».

Конечно же, то, что чувствовал Шенгели в эти годы в Москве, ощущали и многие другие писатели по всей необъятной Советской империи. Безусловно, жестокие сталинские репрессии коснулись не только творческих людей столичной Москвы. Так на Украине только с 1930 по 1938 год было уничтожено более 200 украинских писателей. Так, к примеру, лишь из одного 62-квартирного писательского дома «Слово» в Харькове были вывезены на «чёрных воронах» и брошены в тюрьмы в 30-е годы более 70 писателей, из которых 33 человека расстреляны. М. Драй-Хмара, М. Зеров, М. Кулиш, Л. Курбас, М. Йогансен, Е. Плужник, В. Свидзинский, М. Семенко, П. Филиппович — «расстрелянное Возрождение» украинской культуры.

Георгий Шенгели прекрасно осознавал, что происходит в стране. Он был не только поэтом, мастером слова редкостного духовного наполнения, но и мужественным, волевым человеком. И он был не только незаурядным жизнелюбом, пловцом, планеристом, любителем хорошего табаку, фолиантов и географических карт, ценителем собак чёрной масти, телескопов и всех видов оружия. Он был так же мудрецом и аналитиком — и наследственным дипломированным юристом, и шахматистом, как минимум, во втором поколении: «Шахматный столик стоит в кабинете, / В партию Стейница впился отец...»

Тактиком и стратегом представал он и непосредственно за клетчатой доской, и в более широком смысле — в своих реальных шагах по изошрённым раскладам непростых жизненных коллизий, сполна выпавших ему на долю. Прекрасно понимая и предчувствуя постоянно возникающие реальные угрозы при каждой новой вариации партийной линии, он всякий раз пытался играть на опережение. Тактически — защищая свой общественный и литературный статус-кво, свою возможность заниматься любимым делом. Стратегически — стремясь выжить, не быть уничтоженным, вместе с тысячами и тысячами других «мастеров культуры», изо всех сил стараясь не уронить своей чести человека и поэта, не предать своей «лирической присяги».

Интеллектуал, профессор, знаток языков, человек явно непролетарского происхождения, родной брат двух расстрелянных офицеров Добровольческой армии, принципиальный оппонент «талантливейшего поэта советской эпохи», чужак насильническому режиму по всем личностным признакам, Г. Шенгели постоянно находился под прицелом, неизменно — в зоне повышенного риска. Арест его мог произойти в любой момент — по любому навету и доносу, по самому ничтожному и произвольному подозрению.

Потому неудивительны, и не осудимы, его побеги из Москвы в Симферополь и Самарканд под предлогом чтения университетских лекций в 1927/28 и 1929/30 годах. Не отменяют ценностного ядра его личности даже те 15 поэм о Сталине, что были посланы им на рассмотрение «самого» в 1937 году. Вполне возможно, что подобный гроссмейстерский, и одновременно явно цугцванговый, вынужденный ход, не только помог Шенгели остаться целым в смуте роковых 37-38 годов, но и издать, паче чаянья, последнюю прижизненную книгу стихов 39-го года «Избранное» в уже упомянутом здесь ранее светло-сером,

твёрдо-коленкоровом — «государственном» — переплётё.

Подобные свидетельства лояльности лично «отцу народов», как известно, высказывались в те смертельно опасные годы и М. Булгаковым (пьеса о молодом Сосо — «Батум»), и О. Мандельштамом, и Б. Пастернаком. Мандельштаму его оды, обращенные к Сталину, не помогли — при втором аресте он был не только «изолирован», но и «не сохранён», в отличие от ареста первого, — и канул в огромную всенародную мертвецкую яму на краю одной шестой части земной суши. Пастернак тогда благополучно сохранился и дожил до дискуссий с советской общественностью, возмущённой его романом «Доктор Живаго», что сразу же резко сократило его дни. Булгакова тоже не тронули, но его ближайшему другу С. Ермолинскому, арестованному сразу же после смерти автора «Мастера и Маргариты», пришлось на допросах на Лубянке и в Лефортово подробно рассказывать о его связях с «контрреволюционным писателем Булгаковым» и несколько лет мытариться в тюрьмах и в ссылке.

Георгий Шенгели не только сумел выжить вопреки параноидальной жестокости его рокового времени, что само по себе было чудом и редкостной удачей. Он не только оставил отечественной культуре и литературе в наследство огромный массив своей творческой и интеллектуальной работы, проделанной в условиях тотального давления. Он ещё и сумел остаться, вопреки множеству враждебных внешних факторов, самим собой, личностью, сумел остаться честным, отважным, не предавшим своего достоинства человеком:

Кто в семнадцатом, в тридцатом  
Пел громам наперебой,  
Не сдаваясь их раскатам,  
Оставаясь сам собой;  
Кто на крыше в сорок первом  
Строчкам вел — не бомбам — счет...  
Так моим ли старым нервам  
С дрожью твой встречать приход?  
Подползай с удавкой, с ядом,  
Дай работу лезвию, —  
Не боюсь! Со смертью рядом  
Я шагал всю жизнь мою! —

так пишет Г.Шенгели в стихотворении «Здравствуй, год шестидесятый...», в 1954-ом году, предчувствуя свой уже

совсем близкий конец и подводя итоги прожитой жизни. Есть ощущение, что две последние строки этого стихотворения и строчка эпитафии Шенгели на его надгробном камне «Я никогда не изменял моей лирической присяге» сливаются в один неразрывный финальный аккорд, помеченный подлинной жизненной, — именно, жизненной! — силой.

\* \* \*

Возвращусь снова непосредственно к теме этого очерка, заявленной в его заглавии. В июле 2013 года я завершил свою статью «Поэт Георгий Шенгели и его Крым». Этот очерк был сразу же, в августе, напечатан, хотя и с некоторыми сокращениями, крымским изданием «Литературная газета + Курьер Крыма» и по частям, в пяти выпусках, керченским еженедельником «Боспор» в начале осени. В конце августа я снова, уже в третий раз за последние три года, приехал в страстно любимую Георгием Шенгели Керчь.

Сидя на завалинке возле небольшого белого дома, почти у вершины Митридатовой горы, вместе с научными сотрудниками Керченского историко-культурного заповедника В. Ф. Санжаровцом и С. В. Механиковым, мы говорили о поэте и его городе, о том, что памятный знак Г. Шенгели в его родной Керчи непременно должен быть установлен, и не когда-нибудь, а уже сейчас, в ближайшее время. Упомянул я и о том, что материалов о харьковском периоде жизни поэта у меня набралось немало в процессе работы над моим первым шенгелиевским очерком.

— Напишите, непременно напишите о харьковских годах Шенгели! Это было счастливое для него время!» — воскликнул Сергей Владимирович Механиков, тот самый исследователь, чьи статьи о Г. Шенгели стали первыми в Керчи публикациями о поэте за последние десятилетия. Пожалуй, подтверждение того, какими полными молодых надежд и нерастраченной творческой энергии были для Г. Шенгели годы его становления в Харькове, и в частности, годы написания и издания «Гонга» в полной мере звучит в его апрельском, 24-го года, письме к М. Шкапской: «Раньше любая мелочь, — прохожий, вызолотивший вечером, зажигая спичку, своё лицо; зеркальный шкаф, несомый по улице; футлярчик для мундштука, похожий на сафьяновый гроб, — всё было источником лирического переживания, всё рождало стихотворение. В первом моём томе, в «Гонге» — 80 стихотворений, написанных в 2 года, но это не более 1/5 всего, что за эти годы написалось. А теперь и выбирать не из

чего: одно стихотворение пишу в месяц, да и то — слава Богу. До такой степени принизили, забили сором, затормошили душу подлые будни...»

Ранние, харьковские, годы творческой биографии Шенгели отмечены не только его плодотворной поэтической и исследовательской работой, но и осознанием и формированием тех мировоззренческих и художественных принципов, которым он неизменно следовал на всех дальнейших этапах своего литературного пути. Именно в Харькове, в период «бури и натиска» своей сполна раскрывшейся творческой натуры, он провозгласил в своих публикациях и выступлениях новое, лично им прочувствованное и продуманное, направление в поэзии, которое синонимически именовал «неоклассицизмом», «пушкинизмом», «новым Пушкинством». Примером публичного провозглашения этих принципов, в частности, может служить прочтение им 13 апреля 1917 года в Харьковском Литературно-художественном кружке лекции на тему: «Новое Пушкинство (поэзия ближайших дней)», о котором через два дня сообщила харьковская газета «Южный край». При этом как на образцы новой линии «неоклассицизма» в русской поэзии Г. Шенгели ссылался на творчество столь разных поэтов-современников, как М. Волошин, О. Мандельштам и В. Ходасевич.

Сочетание классического ритмического и смыслового рисунка стиха, строго выверенного и взвешенного, и нового качества образного и лексического наполнения, более рельефного, предметного, более многомерного и динамичного, — вот что вкладывал Георгий Шенгели в понятие своего «нового Пушкинства», если судить по всему своду его поэтических произведений. Именно эти качества неоклассического письма Г. Шенгели собственно и привлекли меня уже при первом прочтении его стихов в 1988 году, когда сборник «Вихрь железный» попал ко мне в руки. Уже тогда определённо возникло желание прочесть Г. Шенгели полнее и глубже, узнать о нём больше, рассказать о нём и его поэзии. Хочу добавить ещё, что для меня несомненным достоинством пластики, образной системы Г. Шенгели является обогащённость обрётённого и возвращённого им в себе Пушкинства неким очень значительным и одновременно очень личностным его качеством — врождённым и неподдельным Пантикапейством поэта. Это ощущение философского и поэтического обитания на семи ветрах пространства и времени, это одновременное присутствие поэта во многих



сакральных «подлинных узлах координат» живой человеческой истории — едва ли не самое дорогое лично для меня ощущение от творчества Георгия Шенгели. И это дышащее и светящееся Пантикапейство, полагаю, подарено ему не только его родным городом, помнящим более, чем два с половиной тысячелетия истории, но и самим неповторимым узором генома поэта, в котором причудливо объединились наследия русских, украинских, польских, далматских, грузинских, еврейских, турецких родовых линий (этот перечень собственных предков даёт сам Г. Шенгели в начале «Автобиографии»).

На излёте жизни, в 1948 году, тяжело боля, Г. Шенгели возвращается в стихах благодарной памятью, словно бы одновременно, и к родной стихии ночного Понта и Боспора, и к харьковским реалиям начала века, когда из-под крыла издательства «Синяя птица» (которым, по словам Кривцовой и Ланна, был сам Шенгели) вылетела полудюжина его первых поэтических книг:

Мы же в безднах затеряны, поглощены темнотой;  
Этой черной вселенной ни якоря нет, ни границы;  
Только зону луча прорезают бакланы порой, —  
Буревестники счастья, громадные Синие Птицы.

И уже в 1955 году, за год до смерти, Шенгели произносит в прощальных стихах дорогие ему имена русских поэтов-современников, рядом с которыми ему пришлось пережить страшные, жестокие, и тем не менее дорогие сердцу, единственно данные и полные творческого пылания, годы:

Он знал их всех и видел всех почти:  
Валерия, Андрея, Константина,  
Максимильяна, Осипа, Бориса,  
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,  
Владимира, Марину, Вячеслава  
И Александра — небывалый хор,  
Четырнадцатизвёздное созвездье!  
Что за чудесный фейерверк имен!  
Какую им победу отмечала  
История? Не торжество ль Петра?  
Не Третьего ли Рима становленье?  
Не пир ли брачный Запада и русской  
Огромной, всеобъемлющей души?  
Он знал их всех. Он говорил о них  
Своим ученикам неблагодарным,

А те, ему почтительно внимая,  
Прикидывали: есть ли нынче спрос  
На звёздный блеск? И не вернее ль тусклость  
Акафистов и гимнов заказных?  
И он умолк. Оставил для себя  
Воспомянутое о созвездье чудном,  
Вовек неповторимом...  
Был он стар  
И грустен, как последний залп салюта.

Речь здесь идёт, конечно, о поэтах, прекрасно известных каждому истинному ценителю русской поэзии: В. Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт, М. Волошин, О. Мандельштам, Б. Пастернак, И. Бунин, И. Северянин, С. Есенин, А. Ахматова, В. Маяковский, М. Цветаева, В. Иванов, А. Блок.

А ещё перед войной Шенгели начал писать воспоминания «Элизиум теней», для которых в наброске плана обозначил 45 персональных глав, посвящённых своим литературным друзьям и знакомцам. В этом плане, в частности, поименованы: И. Северянин, В. Дорошевич, М. Волошин, О. Мандельштам, Э. Багрицкий, В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый, В. Иванов, И. Рукавишников, А. Грин, В. Ходасевич, М. Цветаева, С. Есенин, В. Шершеневич, В. Маяковский, Б. Пастернак, М. Кузьмин, Н. Асеев, А. Ахматова, Ю. Олеша, В. Катаев, Д. Бурлюк, И. Бунин, Л. Рейснер, В. Хлебников, В. Нарбут и другие. Георгий Шенгели долгие годы находился в самой гуще литературной жизни, и ему, несомненно, было, что рассказать о каждом, кого он назвал в своём плане. К сожалению, для «Элизиума» в полном виде были написаны лишь главы о И. Северянине и В. Дорошевиче. Однако в других своих работах Шенгели успел немало и выразительно сказать и о Брюсове, и о Маяковском, и о Бурлюке, и о поэтах и писателях Одессы (в своих мемуарах «Чёрный погон»). А сколько прозаических глав, например, стоит проникновенное стихотворение Г. Шенгели, посвящённое памяти М. Волошина, «Широкий лоб и рыжий взмах кудрей...», в котором выпукло, рельефно, во весь рост встаёт фигура Макса, большого поэта, человека широкой души, щедрого хозяина поэтического Коктебеля. И одновременно — это стихи, в которых братская любовь Г. Шенгели к Максимилиану Волошину, другу многих его лет, звучит искренно и неподдельно.

Из «Четырнадцатизвёздного созвездья» Г. Шенгели и

плана его «Элизиума» естественно, без принуждения, образуется созвездие чуть иной конфигурации — череда тех поэтов и писателей, чьи творческие пути оказались накрепко связанными с шенгелиевским — имеем, думаю, право сказать и так! — Харьковом. И. Бунин, В. Хлебников, О. Мандельштам, Б. Пастернак, В. Нарбут, С. Есенин, В. Маяковский, Н. Асеев, А. Ахматова, М. Цветаева, Д. Бурлюк, И. Северянин, В. Катаев, Ю. Олеша, Г. Петников, Е. Ланн — о каждом из них остались полные жизни и духа времени воспоминания и документы, входящие в харьковский контекст. В том числе и воспоминания самого Шенгели. Однако, подробное (да и благодарное, и любовное несомненно тоже) путешествие по их неостывшим следам достойно того, чтобы стать, например, отдельной и насыщенной реалиями книгой очерков «Харьков в истории поэзии серебряного века»). Надеюсь, что такая книга когда-нибудь будет написана и что одним из главных её героев станет именно поэт Георгий Шенгели. А пока что, в процессе написания этого очерка, словно сам собою выдохнулся лишь краткий поэтический намёк на возможные воспоминания такого рода, этюд с названием «Стихи в Харькове»:

Ушёл сентябрь, холодный и лучистый  
в разрывах между тяжких облаков,  
унёс кудрявый зуб зеленолистый  
и пачку всласть исчёрканных листков.  
Отчалил вдаль тридцатый день осенний,  
тот день, где, синеглаз и сизокрыл,  
читал стихи и бражничал Есенин,  
где Хлебников пророчества бубнил.

Почил сентябрь, но скоро Маяковский  
в пиджачной паре по Сумской пройдёт,  
октябрьский громогласный гость московский,  
огромный пленник собственных острот.  
С ним рядом мрамор мухи Мандельштама,  
живьё Каррары. — Сей, осой звеня,  
бросает обвиненье в фальши, — прямо! —  
румынскому оркестру злобы дня.

И марафетом от Мариенгофа  
помечен курс истории стиха  
здесь, среди стен и лестниц облсовпрофа,  
где жизнь — скорей реальна, чем глуха.

Прошёл сентябрь. И стало больше солнца.  
Как странно обращение времён!  
Едва умывшись, сядешь у оконца  
и снова врубишь старый патефон.

Осенняя сова рязанца кычет,  
и Велимир глядит в очки ЧК.  
И чёт, и нечет, и начёт, и вычет,  
и некая счастливая тоска  
о том, что все здесь были и остались  
здесь — в подлинных узлах координат,  
что давность нот и молодости малость  
усилены любовью во стократ.

И вот, кого опять зову — Шенгели!  
Всегда на мушке века, сам стрелок,  
всегда без дураков, на самом деле —  
Боспора свежий перевозанный вздрог.  
Он, восемь лет по Пушкинской шагая,  
Эредиа, фелюгу и себя  
сберёг средь флагов октября и мая,  
пером, словно уключиной, скрипя.

Миллениум добит. Добыт и скраплен  
из-под пластов иной метан для ТЭЦ.  
Но греет память — рядом Чичибабин,  
улыбкой брат, сединами отец...  
Все были здесь и все слышны доньяне.  
Озоном слов их — лечится душа.  
Ползвучка от святыни до гордыни.  
И, взвешен во всемирной паутине,  
так и живёшь — и каюсь, и греша...

Улица Пушкинская в Харькове, бывшая улица Немецкая, прекрасно помнит молодого и вдохновенного Георгия Шенгели начала прошлого века. Проходя, в силу своих жизненных обстоятельств, ежедневно по нашей с ним общей Пушкинской, я нередко вспоминаю о нём, о незаурядном и ярком поэте с нелёгкой, но значительной и полной явных и тайных смыслов, судьбой. Он, несомненно, остался до конца верен своей присяге «нового Пушкинства», данной им когда-то именно среди здешних городских камней. И потому как раз на этой улице чаще всего видится мне его благородный облик — поэта, мыслителя, пантикапейца, человека живой духовной Вселенной, иноходца и «дальнесмотрителя маяка»:

На улице Пушкинской мы и пребудем вовеки –  
не яббом-хореем, так яблоком и хороводом!  
Спешат молодые и радостные человеки  
вдоль утра её, становясь предвечерним народом.  
И пусть бы потом, в андеграунде, в метровокзале,  
иль, может, на самой высотной небесной опушке,  
две наши души, улыбаясь, друг другу сказали:  
«Увидимся снова, как прежде, – в кофейне на Пушке...»

2013

Нина ЯГОДИНЦЕВА

**Близкое дальнее**

*Александр Кердан. Земля российского владения: романы о Русской Америке. Екатеринбург: Изд-во «АСПУр», 2013. – 796 с.*

Удивительным образом литература – реальность духовная – реагирует на реальность историческую. Набор её жанров рассчитан на совершенно различное, порой взаимоисключающее состояние умов, на разную степень способности проникать в глубину явлений. Внимательному же, пристрастному читателю интересно отследить не только сюжетные линии и судьбы героев произведений (хотя главный смысл, как порой кажется, именно в этом), но и само появление значительного, масштабного произведения, например, романа – почему автор почувствовал насущную необходимость его рождения именно сейчас, в это время, в этом культурном и общественном контексте? На какой вопрос отвечает столь пространно и масштабно? Какое видение и понимание современности привносит в культуру?

Впрочем, без этих словно бы вторичных (а на самом деле главных) вопросов литература быстро превращается в средство коротания досуга (одно из многих) или в более-менее прибыльный бизнес-проект. Только широкий культурный контекст позволяет произведению обрести реальную, а не потенциальную силу, превратиться из «вещи в себе» в «вещь для всех». Но сегодня обстоятельства к подобному широкому осмыслению располагают как никогда мало: рваное, клиповое мышление большинства даже читающих ещё людей, активная работа имиджмейкеров от истории, сама психологическая установка на выживание, а не на бытие (то есть существование исключительно днём сегодняшним и подавляющий страх перед будущим, а отсюда и нежелание мыслить масштабно).

Тем более удивительно и значимо в контексте нынешних культурных и общественных проблем появление в свет эпопеи Александра Кердана «Земля российского владения», рассказывающей о трудном освоении и непростительной утрате Русской Америки. Три романа эпопеи – «Крест командора», «Берег отдаленный» и «Звёздная метка»

связывают собой все этапы этой исторической, а по существу современности больше даже геополитической драмы: открытие, обживание богатейшей земли и борьбу за неё между крупнейшими геополитическими «игроками».

Связывая цепочку причин и следствий, вплетая судьбы героев – реальных и вымышленных – в канву описываемых событий, эпопея Кердана воссоздаёт целостный взгляд на историю, что сегодня для нас как общества, как государства не просто важно – насущно. Сколько бы ни вещали западные культурологи о конце истории, она по-прежнему складывается из наших устремлений и страстей – высоких ли, низких, сугубо личных или освящённых пониманием высокой пользы для Отечества. Может быть, поэтому сам приём повествования, на первый взгляд, клиповый (небольшие главки с резкими переходами от одних героев или событий к другим), с одной стороны, вполне под силу современному читателю, привыкшему к фрагментарному изложению, а с другой – выполняет чисто художественную функцию, образует переплетение разнообразных сюжетных линий, художественная событийная плотность максимально приближается к плотности исторической реальности.

Сама тема, избранная для художественного исследования, обретение и утраты Аляски тесно смыкается как минимум с тремя остросовременными, если не сказать – болевыми для России вопросами. Первый, и, возможно, самый актуальный из них – территориальная целостность, сохранение земель, объединённых и освоенных Россией. Распад великой державы в начале девяностых активно питает надежды Запада на дальнейшее расчленение богатейших земель планеты, и у мыслящей части общества не утихает тревога за Дальний Восток и Сибирь: время от времени в прессу просачиваются сведения, дающие для неё вполне веские основания. Александр Кердан на богатом историческом и психологическом материале показывает, сколь губительны были и таковыми остаются для великой страны столичное пренебрежение окраинами, повальная коррупция, наивное доверие «пятой колонне», которая воспитывается и подпитывается Западом постоянно, а в самых сложных для страны ситуациях используется технично и точно.

Второй болевой вопрос – это сегодняшняя «однополярность» мира, где миф о «стране свободы», ничего общего не имеющий ни с повседневной реальностью этой страны, ни со свободой вообще, уже давно превратился не только в орудие уничтожения национальных культур, но и в прямое оружие убийства тысяч ни в чём неповинных

людей. Именно тогда, в момент «собираения» американских штатов и покупки Аляски, была сформирована та ситуация, у которой сегодня в заложниках вся планета. И Кердан убедительно рассказывает о неприглядной правде общества свободы, начиная практически с самых его истоков. Особенно ярко это проявляется в третьем романе, «Звёздная метка», центральный герой которого князь Панчулидзев трезво осмысливает основы американского жизнеустройства с позиции представителя русского мира.

И наконец, третий вопрос – не менее значимый. Это вопрос о самой возможности создания общества, свободного от пороков цивилизации, не ограничивающего личность бессмысленными запретами, сословными барьерами и прочими как бы условностями. Общества, о котором мечтал герой второго романа Дмитрий Завалишин. Где же его можно построить, ежели не на новой земле, на новых основаниях? Но куда бы ни пришёл человек – он всюду приносит с собой свои страсти и пороки, они-то в итоге и оказались освобождёнными от сдерживающих сил традиций, закона и культуры, они-то и подменили свободой денег свободу личности, а вместе с этим принесли свободу от морали, совести и других основ жизнестережения.

Вместе с тем эпопея о Русской Америке – произведение истинно художественное, жанрово точное, поскольку эпика изначально предполагает создание образа мира и человека в нём, гармоничное отражение и сопряжение личного и всемирного. Александру Кердану удалось соединить не только малое и великое видение исторических реалий. Насыщенная современными событиями лексикой словесная ткань романов создаёт удивительное впечатление живой историчности повествования – речевые обороты в диалогах и описаниях воспроизводят архаику ровно в той мере, в какой она необходима для ощущения аромата времени, и в то же время сквозь эту архаику отчётливо проступает наша современность.

Романы густо «населены», судьбы персонажей порой переплетаются причудливо, но каждый из них запоминается какой-то особенной чертой, поступком – причём автор в большинстве случаев прослеживает не только судьбу героя, но и краткую историю его рода (ещё одна скрытая антитеза мифу о возможности построить «общество свободы», отказавшись от своих корней). И героиня «Звёздной метки» Полина Радзинская, чьи странные слова и поступки тщетно пытается объяснить себе влюблённый в неё Панчулидзев, та Полина, которая в конце концов остаётся в Америке, когда



Аляску всё-таки продают, – пожалуй, единственный центральный персонаж без корней», без привязки к широкому, но прочно связанному русскому миру.

Красивая, образованная («смолянка» – выпускница Смольного института), эмансипированная – но уже сорванная ветрами судьбы со своих родовых корней и потому легко вошедшая в «пятую колонну» шаткого времени... Однако и у этой судьбы есть достойное послесловие: достигнув своих тайных и явных целей, выйдя в итоге замуж за американского бизнесмена, будущее дитя своё она мечтает назвать именем того, над чьей душевной чистотой она так потешалась, чьей наивной горячностью так умело пользовалась для достижения своих туманных целей...

И всё-таки главный персонаж, проходящий через все три исторических полотна, – автор, собеседник, в какие-то моменты романного повествования раскрывающий глубокие душевные движения героев, их впечатления, философские воззрения на ход событий. Сам приём «всеобъемлющего авторского сознания», свойственный эпике, предполагает, конечно, что автор имеет право рассказывать о своих героях всё, вплоть до их мыслей – но тут несколько другое: благодаря автору-спутнику – безусловно, нашему современнику, нам в полной мере понятны переживания и поступки героев. Возможно, именно этот приём и приближает к нам отдалённые времена и берега, заставляет переживать события на максимальную глубину...

Все три этапа истории Русской Америки различны по характеру, энергии времени, по её и устремлённости. Автор ощутил и отразил это глубоко и тонко: если «Крест командора», история открытия новых земель, воспринимается как роман-приключение (что, естественно, не исключает философской и исторической глубины), то «Берег отдаленный» создан несколько в иной тональности, он более описателен, более традиционен – если можно так выразиться. Роману «Крест командора» была посвящена отдельная наша рецензия, и потому не станем здесь повторяться.

Второй роман трилогии освящён образом Пушкина, которому накануне роковых событий, приведших к дуэли, была прислана рукопись Кирилла Хлебникова об освоении Русской Америки, и который её так и не успел прочесть. Исторические события и персонажи тонко и точно введены в повествование, фоном проходят наполеоновское вторжение, восстание декабристов – но в фокусе авторского внимания неизменно остаётся судьба Аляски и её жителей:

индейцев, русских, алеутов, людей множества других национальностей.

Вообще национальный вопрос в эпике Кердана решён с позиций культуры и государственности: Россия – не только страна, русские – не только народ. Это определённый цивилизационный уклад, и не собственно национальность, а способность воспринять этот уклад и жить согласно ему является определяющей для многих героев трилогии.

Третья же часть, «Звёздная метка», – это в полной мере исторический детектив, где многое открывается не прямым текстом, а намёками, естественным сопряжением сюжетных линий. Выводя на первый план роман Панчулидзева и Полины, на втором плане Кердан выстраивает вполне внятные очертания масонского заговора в отношении Русской Америки, а на третьем уже практически сам собой возникает «роковой момент» истории, её, собственно, поворот к нынешнему состоянию и нынешним роковым вопросам.

Воспроизводя в записках Николая Мамонтова романтические масонские ритуалы посвящения, автор раскрывает и жестокую реальную деятельность этих «преобразователей», в ряды которых приходят очень разные люди, но романтики, мечтающие преобразовать мир по законам справедливости, как правило, погибают, а остаются жёсткие прагматики, использующие свои знания для получения сверхвласти и сверхприбыли – они-то и причисляют себя к «сверхчеловекам», обладающим особыми правами в отношении других.

Антитезой масонскому произволу в романе звучит последняя фраза из дневника Мамонтова – в последней из найденных книжек она оказалась единственной, и сохранилась даже не сама (страничка вырвана), а оттиск её на внутренней стороне обложки: «Господи, спаси и помилуй Россию!» Написал это человек, переживший иллюзии, не сумевший остановить предательство, неизбежно погибающий – но не утративший высокой точки опоры своего духа. И это как нельзя более точно рифмуется с сегодняшним днём, когда власть денег и цивилизация потребления кажутся всеохватными и всепроникающими, и только усилие духа и вера в высокое предназначение человека способны удержать от отчаянья – но даже вырванные из истории и культуры страницы способны проступить для внимательного взгляда и открыть ему истину...

Появление в литературном поле столь масштабного

исторического произведения – добрый знак нашего времени. Эпика как таковая возможна не во все эпохи, она знаменует собой необходимость и возможность осмыслить мир в его максимальных границах, оглянуться в прошлое, чтобы увидеть будущее, она требует от романиста особой художественной точности, прозорливости, государственного мышления, мощного философского основания. Всё это есть у Александра Кердана – как создатель и координатор Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья, он получил огромный опыт объединительной работы в отсутствие столичной поддержки. Как поэт, он обладает способностью видеть соединение истории и современности сквозь тот «магический кристалл», о котором писал Пушкин, он поднимается от описания душевных состояний до философской высоты обзора событий. Как доктор культурологии, выявляет скрытую взаимосвязь событий, их историческое «рифмование» между собой. И наконец, как офицер, без малого тридцать лет отдавший служению своему Отечеству, он точно расставляет нравственные акценты и в конкретных судьбах, и в общей исторической логике.

Но эпическое произведение появляется на свет не только по внутренней потребности автора, не только на основании его художественного, философского и гражданского опыта. Это всегда ещё и ответ на невысказанный вопрос общества, коллективного национального сознания, если хотите – какими нам быть, каким видеть мир и какие пути в нём выбирать. И в этом смысле историческое повествование Александра Кердана о Русской Америке – не просто творческий подвиг романиста, это приглашение к осмыслению нашего общего будущего, в котором существование России всё более и более связывается с сохранением человека и человечности вообще.

Игорь МИХАЙЛИН

**ПОЭТ — ЭТО ЛЕКАРЬ, ЛЕЧАЩИЙ СЛОВОМ**

К юбилею Риммы Катаевой

По профессии Римма Александровна Катаева — лекарь, врачеватель.

Почему я начинаю разговор о ней с этого сюжета? Потому, что ее профессия была избрана не случайно и наложила существенный отпечаток не только на судьбу, но и на творчество. Лечение невозможно без диалога. Диалог — естественный канал информации для лекаря о самочувствии пациента. Но ведь и в поэзии Римма Катаева удивительно диалогична.

Вот эта свойственная ей удивительная диалогичность — от ее первой и, может быть, основной профессии. Коренная харьковчанка, она в далеком 1957 году окончила Харьковский медицинский институт, много лет проработала в качестве врача в Полтавской области и в самой Полтаве. Поздно профессионализировалась как писатель (только в 1983 году вышла в свет ее первая книга «Порог»). Поздно была принята в Союз писателей (в 1992). Зато дебют ее отличался удивительной зрелостью. Об этом тогда говорил весь литературный Харьков. До первой книги она печаталась во многих литературных журналах и коллективных сборниках.

Сегодня место Риммы Катаевой среди русских писателей Харькова особенное. Может быть, я не буду оригинальным, когда скажу, что даже не только в одиннадцати сборниках поэзии тут дело. После дебюта одна за другой выходили в свет ее книги: «Рябиновая ветка» (1987), «Майский снег» (1989), «Перед грозой» (1990), «Времена души» (2001), «На перекрестках харьковских дорог» (2003), «Харьков — судьба моя» (2004), «Ступени» (2008), «Сентябрины мои, сентябрины» (2012).

Дело в том, что она относится к наиболее авторитетным мастерам слова. И не только исходя из критерия опытности работы в писательском цехе... Таких, как она, называют

«нравственная категория». К ней идут за советом, на ее творческий вечер зал Союза писателей заполняется доверху, а от желающих выступить нет отбоя. Стол перед нею завален цветами, несмотря на далеко не летнее время. Многие годы она возглавляла литературную студию Союза писателей, работая с теми молодыми авторами, которые пишут по-русски. «Косяком в мой дом идут / Мальчики и девочки — / Всё стихи несут на суд, / Рифмой бьются клеточки», — написала она в одном из стихотворений.

Ее поэзия доказывают, что она очень общительный, как говорили ранее, очень диалогичный, как говорят сегодня, человек. Ей все время хочется не писать, а разговаривать стихами. Для нее обращение — не риторическая фигура, а внутренняя потребность найти собеседника, сказать ему что-то доброе, сокровенное. Даже тогда, когда как бы отсутствует повод поговорить с каким-нибудь лицом, она все равно находит способ для обращения: «Я люблю тебя, Дактиль, до одури» (вот так, ни больше, ни меньше: Дактиль, с большой буквы — любимый размер поэта), «Оптимизм, / Ну откуда ты взялся / На моем беспокойном пути!», «Скажи мне, море, / Что же ты такое?», «Сердце, сердце, что с тобою делать?», «Ну, что ты делаешь со мной, моя Сумская?». Это немногие из примеров.

Но значительно больше в поэзии Риммы Александровны буквальных, а не риторических обращений и посвящений. Вся наша жизнь кому-нибудь или чему-нибудь посвящена. Хорошо, когда человек это осознает. Можно предположить, что посвящение кому-нибудь особенно свойственно женщине. Поэтические посвящения Риммы Катаевой, впрочем, лишены всемирно-исторической всеобщности, они локальны, сосредоточены на круге ее добрых знакомых. Но все же если говорить о типологии посвящений, то тут следует в первую очередь выделить посвящения лицам, которых можно назвать дальними. Это те, кто не окружает поэтессу сегодня в ее нынешнем бытии.

Стихотворение «Киевскому другу» содержит посвящение «М. Ж.». В нем развита интересная идея. Мы (автор и собеседник) живем «на разных полюсах расколотой планеты», протягиваем один другому руки «сквозь черный свет разлуки», «на разных языках мы шлем друг другу слово». В результате общения гаснет тоска, падают засовы; «растет между людьми / В час противостоянья — / Великое, как мир, / Взаимопониманье». Вот главный результат диалога — взаимопониманье.

Одно из лучших стихотворений посвящено выдающемуся украинскому поэту и называется «На могиле Игоря Муратова». Поэт умер тогда, когда молодая Римма Катаева только делала первые шаги в поэзии, поэтому живого общения между ними не было. Осталось впечатление о «полном страсти голосе», «светлой силе», красоте мужчины, могучей силе его таланта. Поэтесса ощущает свою вину («я словно втайне виновата») перед Муратовым за отсутствие общения с ним при жизни, но сегодня она, как к живительному источнику, обращается к его творчеству: «Читаю я живую правду, / И — вопреки календарю! — / Когда мне надо, очень надо, / Я с ним сквозь время говорю».

Наиболее драматична «Старая больничная тетрадь». Это целый цикл о желании «неземного чуда», о стремлении к нему, о каком-то романе, о могучем чувстве, вспыхнувшем и озарившем жизнь, о преданности этой любви, альтруистическом отношении к ней. Героиня обращается к любимому: «Мне от тебя ничего не надо. / Ни клятвы в любви, ни надрывов души. / Ни злых поцелуев, ни добрых объятий. / Ни денег. Ни чести. / Ни правды. Ни лжи». Ей достаточно, чтобы любимый раз в полгода сказал ей два коротких слова: «Ну, как ты, дружище, жива ли, здорова?» Опять вопрос: да знает ли любимый о любви к нему героини? — остается поэтической загадкой. Или он несуществен в масштабах ее чувства? Ей важно не столько быть любимой, сколько самой любить.

Отдельная тема — посвящения близким, окружающим поэту. Стихотворение «Меня чаруют истой дружбою...» посвящено «Сергею Шелковому и Анатолию Конькову». Я думаю, что половина Харькова не нуждается в объяснении соединения этих двух имен. Для другой половины объясню, что Анатолий Коньков — актер, композитор, написавший множество песен на стихи харьковских поэтов, а Сергея Шелкового — в особенности. Римма Катаева восторженно воспринимает их дружбу. Два талантливых автора создают одно произведение — песню, «и зазвенит она красавицей — / Подхватят облака! / Два друга радуги касаются — / Поэт и Музыкант».

Стихотворение «Загадка» посвящено Анатолию Мирошниченко. Здесь создан его субъективный, импрессионистический портрет. Для Риммы Катаевой он — ты. Он «чертовски красив», от его стихов «с ума б не сойти», ему «подвластны женщины и змеи». Но при всем знании о поэте он остается для автора загадкой. Это слово и вынесено в заголовок поэзии.

С неожиданным, но вполне понятным, названием «Человек» стихотворение, посвященное поэту Виктору Тимченко. Для его понимания нужно знать, что Римма Катаева и Виктор Тимченко вместе долгое время руководили литературной студией Союза писателей. Впрочем, стихотворение, кажется, написано еще раньше, до того, как им вместе пришлось воспитывать в Харькове творческую молодежь. «А мой поводырь — слепой, — делает поэтесса первую зарубку в портрете своего героя. — Думаешь, это рискованно? — / Без страха за ним, раскованно / Ступаю стопа за стопой». Стихотворение, таким образом, построено на опровержении стереотипа. Традиционно ведь все наоборот: слепой имеет поводыря. Римма Катаева переворачивает стереотип, выворачивает его наизнанку: для нее слепой поэт становится поводырем. И не только для нее, а и для многих зрячих. «Он с радостью кобзаря / В ладоши по-детски хлопает, / Когда вдруг услышит хлопчика, / Талантливого, как заря». Вот потому к нему приложимо великое название — Человек (с большой литеры).

Наконец, необходимо вспомнить любовные посвящения, разбросанные по всему творчеству. Любовь присутствовала для автора во всей жизни, потому она везде. Любви никогда не бывает достаточно много, ее всегда не хватает, она всегда связана со страданием, ожиданием, творчеством. Она источник лирического конфликта. Стихотворение, которое начинается строкой: «Хотелось бы так полюбить», и заканчивается — «Чтоб даже писать не хотелось!», построено на конфликте любви и творчества. Что для поэта самое дорогое? Конечно же, творчество. Но Римма Катаева как поэт мечтает о такой любви, которая даже творчество вытеснила бы из ее жизни.

Невозможно обойти последнюю по времени книгу, на которой стоит имя Риммы Катаевой. Имя ее стоит, но сама поэтесса ее не писала. Книга называется «Римма Катаева в стихах друзей» (2013). Это коллективный сборник, состоящий из поэтических произведений тридцати пяти авторов. Ни у одного харьковского поэта такого сборника нет. А у Риммы Катаевой есть. Откуда он взялся? Да это же ответы авторов, их реплики в диалоге с Риммой Катаевой. Инициатором этих диалогов зачастую была именно она сама. Вот эта тяга к диалогу, на мой взгляд, у Риммы Александровны — от первой профессии.

Как-то раз я исподволь стал перечислять докторов, сбежавших из медицины в литературу, и ахнул. Оказывается, лиц с медицинским образованием в литературе очень много.

Они уступают разве что филологам. Но писателям как бы «по штату положено» иметь филологическое образование, как банкирам — экономическое. А медицинское — совсем не обязательно. Но писатели с медицинским образованием — это Антон Чехов, Викентий Вересаев, Артур Конан-Дойль, Михаил Булгаков, Степан Руданский, и ближе к нашему времени, современники — Виталий Коротич и Юрий Щербак. А началось все с французов XVI–XVII вв. — знаменитого своими поэтическими предсказаниями Мишеля Нострадамуса и основателя французской журналистики Теофраста Ренодо. Я подумал: лечат ведь не только скальпелем и таблетками, а и словом. Может быть, в первую очередь — словом... Которое было вначале и из которого все произошло.

В этом почетном ряду докторов в литературе видится мне и Римма Катаева. Как лекарь, приходит она к нам со своим честным словом, надеясь с его помощью сделать мир и человека в нем краше и добрее.

Как поэт она чрезвычайно самокритична. Редчайший случай в литературе, где писатель, как правило, не способен выступать мериллом собственного таланта. Ему всегда кажется, что он создает гениальные произведения, переживущие века. Это не он посредственно пишет, а современники его не понимают. Римма Катаева, кажется, напрочь лишена тщеславия.

В стихотворениях «Ну, что я?.. Просто кроха в объемности вселенной», «Какой я все же маленький поэт...» она говорит о своей мечте остаться в истории литературы хотя бы одной строкой и скромно называет себя: «Тихая, неопытная лира». Что же дальше? Нужна ли она литературе? Самое интересное, что она даже не задает себе этого вопроса. Зачем быть нужной литературе, когда она нужна людям, читателям? «И лишь при виде слушающих глаз, / Слезы мелькнувшей, вспыхнувшей улыбки, — / Себя прощаю уж который раз! — / И жизнь свою не чувствую ошибкой». Она нужна миру, ему нужны «не только гением отточенные строки», но и «удавшиеся крохи» простых живых смертных, к которым автор относит в первую очередь себя.

Лирика (а Римма Катаева — лирик) всегда автобиографична. То есть, поэт всегда пишет о себе и исходит из своего жизненного опыта. У Риммы Катаевой немало стихотворений о войне. Для нее военная тема пропущена сквозь ее детское, подростковое восприятие. Военная лирика — это стихотворения «Харьков, 22 июня», «Конфеты», «Победа», «Мое поколение», «Огонь», «Прощание», «А у тебя



есть ощущение вины?», «Шинель» и др. Военных стихотворений у нее хватило бы на отдельный сборник, хотя она его так и не собрала. Критика могла бы назвать ее поэтом военного детства.

Психология творчества (и философия) утверждает, что в основе создания поэтического произведения лежит использование кладовой памяти. Из нее черпает поэт материал для своих поэтических строчек. Иван Франко в этом смысле назвал поэтов «психологическими Крезами». К числу таких богачей относится и Римма Катаева. Это доказывает стихотворение под названием «Память». О чем оно? «Тот казахский аул Чиили / Накормил, обстирал и обштопал, — / В сорок первом сюда завели / Нас военные долгие тропы». Девчонка выбегает на железнодорожную насыпь и кричит вослед поездам: «Ну, когда же приедет папа?» Поезда пролетают мимо, оставляя девочку без ответа. После был госпиталь в белой Сибири, возвращение в Харьков, «и в житейские мирные были». Все это — в памяти. Теперь: «Тихо падает с дерева лист. / Две могилы. И вечности запах. / И уже невозможно спросить: / «Ну, когда же приедет папа?» Этому стихотворению тридцать пять лет. Оно написано (страшно подумать!) в далеком 1978 году и дорого для поэтессы отраженной в нем памятью.

Категория памяти приобретает в ее творчестве особенную выпуклость. Стихотворение «Солнце» начинается словами: «Откушу я у памяти солнца кусочек». Вы поняли, дорогой читатель, что такое память? Это огромное светило, от которого можно откусить кусочек. От этого откушенного у памяти кусочка солнца станут лопаться почки, отогреется простуженный дом, главное — исчезнет одиночество. Загадочным образом вместо я в поэтическом пространстве стиха появляется мы. И уже нас «заклучит в объятьях большая планета» и начнет кружить свободными ветрами. Для поэтессы память «красивая», но летучая, ее трудно удержать, особенно в том случае, когда «весёлое солнце мое — это ты». Неопределенность местоимения второго лица только усиливает загадку. Ты — это может быть любимый мужчина, дочь, внучка, Бог, природа, а может быть, и еще что-то, нами непредвиденное. Смысл поэзии — в тайне, в мелькании значений, за которым трудно уследить. Снятие покровов превращается в обыденность.

Большей конкретностью наполнено стихотворение «Вызов». Ты этого стихотворения — любимый, с которым пришлось расстаться. Прошли годы, влюбленную пару разделяет уже не только время, но и государственная

граница. Но, невзирая на препятствия, мы «душу тиранам мечтой о свидании». Лирическая героиня вдруг получает «вызов», возможность встретиться с прошлым. Это приводит ее в смятение. Она отказывается от искушения. Почему? Из-за памяти. «Нет, лучше память твоя с новой силою / Лепит меня — молодой и красивою!» Героиня побоялась остаться в памяти милого иной, чем прежде, и отказалась от встречи с ним.

Римма Катаева — харьковский поэт не по прописке в паспорте, а по духу своего творчества. География ее поэзии — улицы и площади Харькова, просопография — харьковские писатели и деятели культуры, прошедшего и настоящего, но это всегда наш город, с его реальностями и достопримечательности. Читатель их всегда легко узнавал и благодарил автора за введение нашего города в высокий круг поэзии.

Русская (и украинская) поэтическая традиция немислимы вне категории гражданственности. Программное произведение политической лирики Риммы Катаевой называется «Украина». Оно аллюзивно, начинается прямой цитатой из А. Малышко: «Україно моя!..», с которым Римма Катаева вступает (опять!) в диалог: «А моя — не моя Украина?» Но это, собственно, тезис. Каждый знает, что в поэзии важны доказательства, художественные, конечно же, поэтические. Их находит поэтесса в апелляции к собственной биографии, к своему жизненному пути и опыту. Родившись в Харькове, она чувствует себя дитем города. Но ей пришлось глубоко познать и украинскую глубинку. «А врачом начинала, мотаясь по сельским ухабам. / Молодая — в резине — месила полтавскую грязь. / Как любили меня эти хворые сельские бабы / Мужики не спускали с меня доверяющих глаз». Там повстречала любовь, родила дочь, из украинской земли черпала силы для творчества, «мечтала о новой, ее возрожденной весне». Дальше — главное признание: «Я пишу для нее», страдаю ее страданиями, болею ее болями, ищу живой перевод украинскому слову; она солидарна с судьбами множества расстрелянных украинских поэтов, пытаюсь возродить историческую справедливость: «Рююсь вместе со всеми в забытых, зарытых руинах. / Каждый голос осмыслить пытаюсь: куда он зовет? / Лишь бы правду свою отыскал и очистил народ!.. / «Україно моя...»? И — моя, и моя Украина!» Так завершается это произведение, по ритму и интонациям целиком выдержанное как подражание заглавному стихотворению из цикла «Україно моя» А. Малышко 1941 года. Всей своей жизнью и творчеством Рима

Катаева заслужила право сказать именно так: «Моя Украина», не в том смысле, что она ею владеет как колонизатор, требует для себя привилегий в завоеванной стране, мнит в каждом украинце — националиста, а в том, что для нее Украина — это ее внутренняя суть, плоть и кровь, судьба, содержание творчества.

В стихотворении «Украинская мова» она повествует о сугубо индивидуальном поэтическом опыте, который, впрочем, пережил для себя каждый автор, пребывающий в поле действия двух родственных языковых структур, — невозможность точного воспроизведения определенных, очень метких выражений из одного языка средствами другого. Как же решила для себя этот вопрос Римма Катаева? Она, как русская поэтесса, позавидовала богатству украинского языка, позавидовала белой завистью, порадовавшись вместе с тем за народ, взлелеявший такой язык. «Пишу по-русски — и чуть-чуть завидую. / Живу на Украине — и горжусь».

Но вернемся к нашей центральной идее диалога. Римма Александровна возложила на себя миссию знакомить русский мир с украинской поэзией, то есть организовать симметричный диалог двух культур. Неумоимо она переводит на русский язык и предлагает читателю произведения украинских авторов. Невзирая на то, что социального заказа на эти переводы ни от российского государства, ни от российского общества не поступало. Переводы она регулярно публикует в своих поэтических книгах. Главы с переводами стали неотъемлемой частью ее сборников.

Только в книге «Ступени» глава переводов с украинского языка «Далекие — близкие» занимает около сорока страниц, а это немного меньше, чем четверть от целого текста. В этой главе представлены: Владимир Базилевский, Лина Костенко, Дмитро Павлычко, Владимир Свидзинский, Александр Олесь, Владимир Сосюра, Василь Стус, Микола Винграновский, Петро Перебийнис, Борис Олейник, Виктор Тимченко, Христя Алчевская, Олекса Марченко, Павло Мовчан, Микола Славинский, Василь Моруга, Тарас Федюк, Степан Сапеляк, Юрий Стадниченко, Анатолий Перерва, Микола Лукив, Ольга Тараненко, Владимир Науменко, Иван Перепеляк, Анатолий Каминчук, Наталка Матюх, Виктор Бойко. Микола Визиянов, Вячеслав Романовский, Антонина Тимченко, Ольга Тильная. Это целая антология украинской поэзии, в которой особое внимание уделено харьковским авторам, как прошлого, так и настоящего.

Я нарочно, говоря о посвящениях, не коснулся стихотворения «Взялась переводить великого поэта...». Оно посвящено Д. П. Дело в том, что это стихотворение раскрывает процесс творчества над поэтическим переводом. Тот, кто переводил когда-либо поэзию, знает, какой это сложный и трудоемкий процесс, связанный с поиском в своем языке адекватного слова, ритма, размера, рифмы и т. д. Все это разом должно совпадать, соответствовать оригиналу, быть не хуже (но и не лучше) его. Иногда, кажется: легче написать десять своих авторских стихотворений, чем перевести одно чужое. Вот об этом труде переводчика названное стихотворение Риммы Катаевой.

Поэтесса вплетается в корни слов, лепит их трепетно, «Я рукопись свою всё яростней черкаю, / Зима уже прошла, уж лето позади. / Словесной суетне — нет ни конца, ни краю. / Строку мою секут отчаянно дожди». Но вот автор окончательного прощлась по слогам «жесткой плеткой, и подтянула строй до каждой запятой». Она отсылает перевод «великому поэту» почтой и, наконец, держит в руках ответ: перевод одобрен, он подарил автору радость. Прекрасно, что Римма Катаева написала такое стихотворение. В лирике много произведений о самой поэзии и не могу припомнить, чтобы было что-нибудь стоящее о переводе.

Поэт — это не профессия. Смешно звучит: «Мой папа (моя мама) работает поэтом». Поэтом можно просто быть. Профессия же это что-то совсем другое. Это то, что связано с ежедневным хождением на работу, выполнением каких-то обязанностей. А поэзия — это наслаждение... Наслаждение творчеством... Творчество любит уединение. Писатель ведь в преимуществе своем — замкнутый человек, интроверт. Талант обречен на одиночество. Но Римма Катаева никогда не была одинока. Она не работала поэтом. Она поэтом просто была... Не шумным, но добросовестным. Потому и стала всеобщей любимицей.

## Государственная стипендия нашему коллеге

По инициативе редакции газеты «Южная магистраль» и ходатайству Харьковского отделения Национального Союза журналистов Украины Указом Президента Украины редактору газеты «Южная магистраль» с октября 1967-го по февраль 1984 года Анатолию Семеновичу Панину пожизненно назначена государственная стипендия как выдающемуся деятелю информационной сферы.

Участник трех войн: финской, Великой Отечественной и войны с милитаристской Японией Анатолий Панин — журналист и писатель. В свои 93 он по-прежнему крепко держит перо и в этом году выпустил уже десятую художественно-документальную книгу. В сборник «И оживает в памяти война» автор включил лучшие из ранее опубликованных произведений, в частности, повести «Власть высоты» — о прославленной летчице-харьковчанке Валентине Гризодубовой и «Вкус полыни» — об Изюмско-Барвенковской трагедии, разыгравшейся в сражениях за Харьковщину в годы Великой Отечественной.

### УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 638/2013

О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям информационной сферы

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» постановляю:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам інформаційної сфери:

1) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:

<...> ПАНІНУ Анатолію Семеновичу - 1920 року народження, працівникові інформаційної сфери. <...>

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ  
16 листопада 2013 р.

## МЕМОАРЫ

Екатерина КОРОТКОВА

## НА ОКРАИНЕ ИМПЕРИИ

На днях я видела, как из детского парка выскочили две девочки лет четырнадцати, и тотчас же к ним на гоночной скорости рванул из переулка длинный автомобиль. Перед этим он мотался, как угорелый, по трамвайным рельсам. Я решила, что это свидание. Но девочки не сели в машину. С независимым видом они пошли своей дорогой. Автомобиль, взревев, их обогнал, остановился. Девочки пытались то обойти его, то отступить. Не тут-то было – хозяевами машины явно овладел охотничий раж.

Потом всё это заслонили деревья, потом я увидела, что девочки отступили в парк. Наш парк плохое место для охоты – он прозрачный, с широким обзором, а возле пруда сидят рыбаки – фанатики процесса, а не улова – целая гвардия крепких, спортивных мужиков. Едва ли эти ребята отнеслись бы сочувственно к проблемам любителей наслаждений, которые считают, что четырнадцать лет – это «самое то».

Я успокоилась за девочек и в который раз подумала, что Москва опасный город. Я жила уже однажды в городе очень опасном и приехала туда как раз в возрасте этих девчонок. Но там всё было иначе. Я ходила вечером по улицам одна. Уже не школьницей, а первокурсницей-студенткой бродила по его безлюдным окраинам в обществе молодого мужчины, отвоевавшего войну. Мне и в голову не приходило бояться. Этот город был опасен по-другому. В нём продолжалась отгремевшая война. Однако девушки могли гулять спокойно, и на танцплощадках никто не устраивал драк.

Львов, молодость моя, странный, страшный, романтичный город на краю света.

Четыре послевоенных года, годы моей юности, и удивительное чувство новизны, словно заново на свет родилась. Отодвинулся, затянулся туманом, долгий путь, теплушки и «пассажирские» вагоны, где в купе набивается до тридцати человек, где спишь, сидя и поджав под себя ноги, где задержавшемуся в сортире стучат кулаком в дверь и грозно подгоняют: «Эй, хозяин!» Мы живем в гостинице «Европа» и дивимся несерьезности поляков, которые тринадцатый номер заменили номером двенадцать «а».

Война окончена, эвакуация осталась на востоке, а этот западный старинный город, который, не в пример другим, пощадили многовековые войны, так необычен, так красив. Крохотные улочки центра, средневековые дома в три окна,

видно, много тут торговали, есть немецкая, турецкая, есть греческая улица, все крохи – на два, на три, на четыре дома; приезжали в город Львов купцы, селились в трех домах, каждый с тремя окнами на фасаде. Какие занятные, нецеремонные названия у львовских улиц! Есть улица «Яна с Дукли». Я так и не узнала, где она, эта Дукля, велика ли, и чем прославил себя её уроженец Ян. Есть улица «Под дубом», её название тоже дает простор воображению.

«Советы» и «советки», занятые переименованием улиц, не жалея сил, стараются искоренить сей вольный дух, и, перебравшись из гостиницы, мы живем на улице Демократической, более известной местным жителям, как Новый Свет.

Ошеломленные паны и пани тоскливо взглядывают на таблички и, стоя в двух шагах от известной с детства улицы Сапеги, робко спрашивают приезжих, где улица Сталина, и тут же испуганно поправляют себя товарища Сталина.

Город, который выдержал и битвы на мечах, и каменные ядра, и бомбежки, сейчас готов был рухнуть, снесенный волной чуждых, непонятных перемен, слов и обычаев; его потряхивали землетрясения, не сильные, но поначалу частые, поляки готовились к исходу, и все уличные столбы пестрели белыми наклейками: «Продается новочесная мебель».

Наши ходят по квартирам, как по музеям: «Зайдите, посмотрите, там есть гарнитуры из черного, красного дерева. Что значит неудобно? Вы просто идёте, как покупатель, и все». Мы польстились однажды и, презирая себя, побывали в палисандровой квартире, обтянутой бледно-голубым шелком.

Но мне запомнилась другая квартира и до сих пор стоит перед глазами – маленькая, убогая, полупустая, какой-то таз на табуретке и огромное полотно на стене – обнаженная женщина. Там жили двое тихих стариков, муж и жена.

Мы ушли подавленные, кто приютит их в Польше, если здесь на родине они живут в такой нищете? Но мы понимали – они уезжают от нас, не за помощью, не за уютом.

Львов постоянно удивлял меня своей несхожестью с Москвой, с Ташкентом. По улице гуляет чернобородый пан, в гольфах, в гетрах, с трубкой, ведет бульдога на цепочке. Старая пани выгуливает в красной упряжи кота.

В один из самых первых дней я увидела, как вели колонну пленных немцев, и вдруг женщина метнулась с тротуара, прорвалась, сунула немцу хлеб. Конвойный отшвырнул её, но хлеб уж был передан, она стояла сердитая, гордая, никого не стеснялась. Здесь жалели пленных, её никто не осуждал.

Львов не любил нас. На базаре вдруг пробежал слух:

«Советка» в картошке вошей ищет». Это значило, что самоуверенная приезжая баба по-хозяйски перебирала овощи, выкладывая на весы то, что получше, и, «мисцевая» (местная) торговка, внезапно вспыхнув, резко говорила: «Идти отсюда. Я вам ничего не продам». И шепоток проносился по ряду, и все «мисцевые», старые, молодые, вдруг становились одинаковы, с каменными лицами в туго повязанных платках, цедили, еле разжимая губы: «Не продается. Не продаю».

С нами не случалось таких эпизодов. В нас не чувствовали советов. Да мы и не любили советскую власть. Сколько раз я слышала во Львове: «Мы тебя спасем».

Они ждали освобождения, эти львовские люди, какого-то правильного завершения войны. Кто их должен был освободить? Бандера и Мельник? Союзники, которые каким-то чудом вдруг перемахнут через пол-Европы во Львов? Я не верила в такие чудеса. И, честно говоря, их не желала. Четыре года мы ждали победы, хоть многие и не любили власть. Темным зимним утром, накинув ржавое мамино пальто, я выбегала во двор послушать доносящуюся с соседней улицы сводку. Как мы радовались этому дню! До майских сумерек бродили, шальные от счастья, пели, кричали «ура!» сорванными девчоночьими голосами.

Впрочем, мне было приятно, что так много народу порывается меня спасти. Ведь я слышала эти слова не только от местных студентов, но и от наших, восточных, чаще всего я слышала их от своего сокурсника Володи, провоевавшего в Красной Армии всю войну, мальчиком бежавшего на фронт и вернувшегося через четыре года её героем – весь в орденах, израненный, контуженный, пытавшийся себя убить, бешено ожесточенный тем, что в этой жизни ничего не изменилось.

«Я спасу тебя», - повторял он. Но я и так ничего не боялась. В полночь шла, почему-то насвистывая, через весь город от подружки, хотя в городе каждую ночь убивали военных, и дворники на рассвете находили на тротуаре отрезанные погоны. Почему погоны и куда девались мертвые? Погоны на пустынной улице, как скальпы. Для партработников командировка в район была почти равна смертному приговору.

Я была, наверное, глупа и беспечна, но Львов и в самом деле меня не трогал. Как-то днем я шла по улице и вдруг услышала топот. В мою сторону бежал человек, его догонял другой, с револьвером. Как всякая львовская девочка я сразу поняла: бежит бандеровец, за ним гонится энкаведешник в штатском. Я вошла в ближайшую дверь. Потом мимо меня промчались оба – ведь в каждом доме был внутренний



дворик, откуда можно было куда-то перебраться. Я вышла и отправилась своим путем по улице Демократической, бывшая Новый Свет.

Львов не обижал меня, и я его любила. Старинный, западный, изящный и опасный, изысканный ландшафт Стрийского парка и примитивные, грубо отесанные камни в средневековом костеле.

Мы влюбились в этот город с первого взгляда. Молодая женщина с желтым от хины лицом и девочка-подросток, падавшая в голодные обмороки, как вскоре выяснилось, от голодного туберкулеза, в грубых чулках с огромными заплатами, шаркая надетыми вместо туфель галошами, внезапно окунулись в совершенно неведомый мир, ощутили скромное обаяние буржуазности.

Мы втянулись в это очень быстро. Сперва мне сшила платьице наша знакомая из русских. Следующее шили уже польские руки – стиль, изящество, линия, я почувствовала это сразу, на первом же ситцевом сарафане.

А потом пошло-поехало, лучшая в городе портниха, пани Пирожкова, лучший в городе портной, пан Пирожок – пальто и шапочка из одинаковой материи. И лучшая в городе парикмахерша, пани Нюня, и маникюрша, и косметичка. В свои пятнадцать лет, с незалеченным туберкулезом я познала первую в жизни косметическую ванну – вторая, кажется, была лет через сорок.

Но мама не была способна ни от чего отказаться. «Вы хотите частную библиотекаршу?» Конечно, мы хотели. И в доме появилась тетечка с каталогом и корзинкой, и посыпались в нашу квартиру всевозможные «Парижские тайны» и «Петербургские трущобы», и «Вечный жид», и просто Андре Жид.

В квартире раньше помещалась столовая какой-то воинской части. Сохранилось даже окошко, пробитое в кухонной двери. Квартира представлялась нам огромной и роскошной – три комнаты, ванна с дровяной колонкой и уже упоминавшаяся кухня. На кухне жили две крысы, когда мама несла к плите на сковородке мясо, они прыгали рядом с ней, как собаки, норовя стащить кусок.

Дверь на кухню мы заколотили и до весны готовили на плитке. За это время крысы ушли, а в доме бушевала генеральная уборка, и наша дворничиха Зося, белобрысая, всклокоченная и тощая, то вступала с мамой в оживленный разговор, то, внезапно спохватившись, восклицала: «Дайте мэни спокой, прошу пани, тут такэ свынство!»

Она называла маму «пани инженерова» (отчим преподавал в технологическом институте), а других наших соседок «пани начальникова» (её муж был начальник

пожарной команды) и «пани офицера».

К нам однажды заглянули двое вежливых товарищей, которым, как я позже догадалась, было желательно, чтобы мы следили за семейством «пана офицера». Мама сделала мне страшные глаза, дабы я не проболталась о своей дружбе с младшей сестрой майора, и сухо сказала: «Нет, мы совсем не общаемся с этой семьей». Я подивилась её лживости, но промолчала.

Лучшие в городе врачи довольно быстро вылечили меня от начинавшегося туберкулеза, и через год я возвратилась в школу и удирала с уроков то одна, то с подругой на манивший нас своими прелестями львовский развал.

Это была огромная площадь, по которой бродишь, словно по музею - веера, кружева, шкатулки... Старые пани с кружевами и стоящие прямо на асфальте патефоны, поющие голосами Утесова, Руслановой, Лещенко, Шульженко - это врывалась в жизнь уходящей панской Польши советская Россия и русская эмиграция - и та, и другая, и третья одинаково милые нашим сердцам.

Нас особенно влекли старые книги. Одну из них я вожу с собой уже полвека, хотя мало что сберегла в своей кочевой жизни.

Но это память о Львове, о городе моей юности, он стоит у меня перед глазами, словно я вчера там побывала. И всплывают, как живые, лица, здания, сценки.

Вот одна из них, она осталась удивительно яркой, видно, она все эти годы живет в моей душе.

Вечер, я иду одна, забредаю на какую-то танцульку. Длинный, плохо освещенный зал, то ли свет в нем тусклый, то ли танцующие вздыбили пыль ногами, и пыль стоит столбом, затеняя свет.

Кто-то в кожаной перчатке... Как они танцуют, эти молодые люди в протезе-перчатке, потерявшие на фронте руку и возможность работать двумя руками, как они наверстывают свой пожизненный ущерб сложным, отчаянно красивым танцем!

«Танго можно танцевать с душой», - сказала мне очень серьезно беленькая девушка Рая, с которой мы как-то встречали Новый год. Она и впрямь танцевала с душой, и партнер был ей под пару, они все время танцевали вместе - конопатенькая девушка и родной её брат, молчаливый парень с серыми угрюмыми глазами и кожаной перчаткой на отсутствующей руке.

Эти однорукие танцоры - может, их не так уж много было - запомнились как примета тех послевоенных лет.

В длинном, тусклом, ненарядном зале, где заливалась радиолы и стояла пыль столбом, меня быстро подхватил

худой высокий парень в военной форме без погон, с раскрытым воротом гимнастерки и в тельняшке, светловолосый, с прищуренными светлыми глазами, некрасивый, но мужественный и складный, и мы пустились отплясывать танец за танцем, и линду, и все остальное, но запомнилась быстрая залихватская линда, а потом он куда-то делся, а я осталась - там не завязывалось отношений, там плясали, - а когда объявили последний танец, моим партнером был милиционер, который вдруг остановился и сказал: «Пока не кончили, идите и оденьтесь, а то пальто могут украсть», и я послушно подошла к столам, на которых были свалены наши пальто, разыскала своё и надела и вышла, одна, ничем не опечаленная, а веселая, получившая в этом зале то, за чем пришла – танцы, сколько душа хотела.

Мы были отчаянные, беспечные девчонки – удирали с уроков, бегали на танцы, брали в оперу дешевые билеты и сидели в первом ряду. Но мы были серьезные, интеллигентные девицы - мы читали классику и наши дружбы с молодыми людьми были умилительно безгрешны. Двенадцать девушек в нашем классе претендовали на медаль. Ни одна из нас её не получила, единственная серебряная досталась серенькой ученице по прозвищу Земляная жаба.

Мы высокомерно проигнорировали это обстоятельство. Во всяком случае нам так показалось. Разумеется, мы знали слово «блат», но ведь медаль не получила даже Рая С., дочь председателя облисполкома, одна из самых лучших учениц. Что касается слова «взятка», оно не входило в круг наших понятий.

Зато как мы были рады, узнав, что вся наша дюжина поступила, куда хотела, и, главное, все сдали на круглые пятерки. Мы как будто что-то доказали нашей глупой, бестолковой школе.

Львовский университет был истый храм науки, а на славянском отделении иные профессора словно вышли из дореволюционного далека.

А профессор Свенцицкий и впрямь оттуда вышел. И точно так же, как я вожу с собой 50 лет книгу, купленную на львовском развале, я 50 лет вожу с собой воспоминание, что я училась у легендарного славяноведа, что приземистый старичок с живыми темными глазами, густой белой бородой и белым пухом на голове, с отчетливым тонким голосом и забавными старческими причудами, мне не приснился, а наяву входил в нашу аудиторию.

На нас сразу свалилось шесть языков, и, ощутив атмосферу Великой Науки, мы попросили еще два факультативно – санскрит и древнегреческий. Должна признаться, что мы к ним не прикоснулись.

Зато мы очень уважали старшекурсников из научного общества. Оказавшись в доме одного из корифеев, - вернее, в комнате (он снимал её вместе с сестрой, моей подружкой), - я принялась почтительно расспрашивать его о филологии. Он кисло произнес: «Да, наука, наука...» И внезапно оживленно спросил: «Панна Катя, а как у вас сердцевы sprawy? Я вас видел в парке с таким красивым».

Я не сразу вспомнила, с каким именно красивым. Молодых людей у нас было много, особенно на украинском отделении, куда я ходила учить английский язык. Эти первокурсники украинского отделения носили вышитые сорочки и чуть ли не свитки, а на переменах не мотались по коридорам, а сидели в аудитории и пели хором, так мощно, слаженно, красиво.

Я думаю, маленькая крестьянская нация, ощутив, что её вобрала в себя большая чуждая страна, стала торопливо укрепляться, ковать свой образованный класс. На украинском отделении было всего две девушки и очень много поэтов.

Один из них на вопрос студенческой анкеты: «Что вы любите больше всего на свете?», ответил: «Синее небо над родными Карпатами». - «Вот дурак!» - возмущались наши девочки. - «Это же шуточная анкета, и отвечать на неё надо в шутку. Нет, он просто дурак и националист».

Но националистами здесь были не только украинские ребята. Студент еврей написал девушке письмо, где ожесточенно осуждал её за дружбу с русскими и украинцами. Дело это всплыло, его осудили, исключили. Не знаю, что с ним стало дальше.

Ещё один студент так выступил на семинаре по марксизму-ленинизму, что его сразу увезли в психушку.

Распалась молодежная компания, в которую я ходила. Нас и было-то всего шесть человек. Погиб от шальной пули тихий, незаметный парень. А вскоре арестовали хозяина комнаты, нашего, из восточных, за такие дела с немцами, за какие сажают даже в самых нежных «цивилизованных» странах. Его жена, моя подружка Люба, уехала в деревню с сестрой. Помнится, этот арест не вызвал удивления - вот уж кто был заметным в технологическом институте - умный, резкий, насмешливый, отчаянно неосторожный.

Львов вообще не стимулировал к осторожности. Там бурлила живая, реальная жизнь, и реальная оппозиция воевала с властью. Дел у власти хватало, и жили мы свободнее, чем на востоке. Нас, например, не загоняли в комсомол. Кто хотел, тот и вступал.

Я с тоскою вспомнила об этом, когда в Харькове меня вызвал комсорг института и грохнул кулаком по столу: «Ну,

с этим надо кончать!» К концу семестра, при всем моем упорстве, мне пришлось написать заявление, даже в художественной форме. Пока я шла через зал, кто-то громко зачитывал: «Наша страна – маяк...» Ну, не стыдоба ли? А во Львове я даже не знала, где он, этот комсомольский комитет.

Через несколько лет я встретила в Коктебеле красивую, милую женщину. Она была общительна, держалась спокойно, но наши кровати стояли рядом, и я помню, как по утрам она, проснувшись, долго молча курила. Это была Маруся Галан, вдова писателя Ярослава Галана, зарезанного во Львове студентами-униатами, которые пришли к нему под видом начинающих поэтов. А ещё раньше, во Львове же, был убит её первый муж. Кто-то мрачно пошутил: на этой женщине страшно жениться.

Я думаю, во Львове было страшно жить. Убийства и самоубийства, и аресты, и комсомольские собрания, на которых вдруг ломалась чья-то жизнь, и случайная смерть студента, возвращавшегося из родной деревни на крыше вагона, тихого, незаметного паренька.

Всё это было вокруг меня, все это было с моими друзьями, знакомыми, соучениками и соученицами.

Страшный город Львов, прекрасный город Львов, лучшие четыре года моей жизни.

## ДОНБАСС

### НА ПРИЕМ К НАЧАЛЬСТВУ

Я зашла в макеевское горно, откуда меня очень скоро завернули, — нет мест в городе и весь разговор. Но пока я стояла в приемной — там были еще какие-то начальственные кабинеты — вошел старик шахтер. Седой, морщинистый, невысокий, крепкий, в засаленной рабочей робе, весь в угольной пыли. Только серые глаза воинственно блестели на черном лице, а на черной рабочей тужурке сверкал орден Ленина.

Я думала, такое можно увидеть только в кино. Но я видела его рядом с собой, тоже пришедшего на прием к начальству.

Мне сейчас вспомнилось, как уже в 70-х утонченная Таня Р., работавшая из идейных соображений лифтером, отправлялась пробивать старшую дочку на филфак. На голову она повязала платочек, на грудь нацепила все регалии своей «материнской славы», а о сложных отношениях с бывшим мужем, который как-никак содержал и ее, и семерых общих детей, печально жаловалась декану: «Работаю я лифтером. Он меня бросил».

Я не исключаю, что и макеевский шахтер тоже тщательно

продумывал свой антураж, собираясь «качать права» у начальства. Только он действительно рубал уголек в свои неподдельно немолодые годы. А Таня, сидя за лифтерским столиком, писала статью «Апологетика Фрейда».

### ШАХТЕРСКИЙ ПОСЕЛОК

Отец был прав, когда сказал мне раздраженно: «Ты рвалась из Донбасса в Москву». Я именно рвалась, он точно нашел слово. Я не одна рвалась, мы все рвались. Десяток молодых учителей и человека три постарше — из них двое, муж и жена, знаменитые Нобели, блистали потом в Москве — кто из нас хотел остаться навсегда здесь, в поселке, где черный снег зимой, и черная пыль летом, где лишняя, как клейстер, грязь весной, где по воскресеньям страшновато выходить из дома, где перед глазами угрожающий пример — депрессивная учительница, которая вышла тут замуж и никогда отсюда не уедет.

Все мы с чувством пели печальную песенку на мои слова и на мотив «Кирпичиков», сочиненную еще в сентябре: «И не знали мы и не ведали, что в такой попадем мы Париж, эх, Ханжоновка, туча черная, ты зачем сине небо коптишь?»

Коксохимический завод, железнодорожная станция и окрестные рудники — эти владения легендарного капиталиста, названные в его честь, прельщали нас гораздо меньше, чем Москва, где он же выстроил когда-то свою «фабрику грез».

И тем не менее, совсем не случайно я сочиняла свою песню в сентябре. Ибо в январе я бы ее не сочинила и не спрашивала бы, зачем коптит небо поселок Ханженково. К тому времени я уже не только знала, что коптит не напрасно, я знала, что не напрасно попала сюда.

Помню очень отчетливо: в сером ватнике, в больших хозяйских валенках я иду по дорожке к дому, прижимая к себе тазик со снегом. Здесь все так делают — снег надо растопить и будет мягкая вода, ею хорошо стирать, мыть голову. Руки у меня красные, заледеневшие — замерзли, пока утрамбовывала снег, а перед этим еще снимала с него черный, верхний слой. Увидали бы меня знакомые москвичи в этом пролетарском антураже, наверно, ужаснулись бы, пожалели, думаю я и улыбаюсь — как ни странно, это мне их жалко. Я-то вернусь в Москву и вновь буду ходить по театрам и музеям, а они ведь никогда не побывают тут, в гуще жизни народной, выражаясь высоким слогом.

В гуще жизни народной я оказалась не по своей воле. Собиралась в аспирантуру, но узнала, что с моей фамилией мне светит только сельская школа или рабочий поселок. И тут я выбрала сама. Романтично. По стопам отца. Узнав, что

мне не предлагают город, я сказала твердо: поеду в Донбасс.

Затем твердость мне изменила, чему свидетельство песня на мотив «Кирпичиков» и мои жалобные письма отцу. Отец меня стыдил, а я мало помалу втягивалась. Было интересно, у меня многое получалось. И словесные игры, и стенгазета, и бои за тишину в классе. В процессе этих битв — с не худшей публикой — способными и беспокойными — у меня сам собой образовался переводческий кружок. «Что ты вертишься? Закончил? Тогда новое задание. Открой учебник в конце. Да, вот тут, где слоненок и крокодил. Переведи эту сказку и после уроков покажешь мне. И ты закончил? Тоже переводи». Спасибо учителям, это они мне посоветовали заниматься чем-нибудь способных непосед. А я уж выбрала то, чем сама увлекалась. Кружок наш проработал до самых каникул.

Это было то, что я им привезла. Получила же, я думаю, гораздо больше.

Учительницы литературы жаловались: в классе страшно приближаться к теме — взяточники в царской России. Ребята сразу поднимают крик: «А у нас? Вот мать вчера ходила, так она ему понесла...»

Мы в больших городах ни о чем подобном не знали. То ли наши родители интеллигенты тогда еще стеснялись давать взятки, то ли опасались нам об этом говорить.

Но поселок есть поселок, да к тому же шахтерский поселок. Здесь больше знают, меньше боятся. И взрослые, и дети. Я уже писала, как в день смерти Сталина ученик сказал: «Сталин сдох. Ну, и что такого?» А вечером немолодой шахтер ходил по улицам, выпивши, и выкрикивал малоприличными словами все то нехорошее, что он думал о товарище Сталине. Его забрала милиция и продержала сутки. Все это я, конечно, узнала в учительской.

У шахтеров трудная, опасная работа, большая зарплата и, как следствие, меньше страха. Но они почтили память вождя, зарплатой оценившего их труд. Говорят, шахтерские автомобили стояли от Пушкинской площади до Тулы. Может быть, это были разные шахтеры — те, что сидели в КПЗ, и те, что выстроились в длинную автоколонну. А может быть, и нет. Я не знаю, возможно, и сейчас есть не только те шахтеры, что стучат касками о мостовую, но и какие-то другие, диаметрально противоположные. Я только знаю, что никто кроме шахтеров касками не стучит.

Это все политика, социальные дела. Но был и колорит, по-моему, он интересен.

Гастроном. В кассу две очереди — длинная и короткая. Длинная — для женщин, короткая — для мужчин. Я стою в длинной очереди, и вдруг ко мне подбегают ученики:

«Екатерина Васильевна, что вам выбить? Масло, а еще что?» Здесь так принято — местный обычай. Шахтер с бабами в очереди не стоит. Но зато в мужской очереди стоят все мужчины, всех возрастов, включая мальчиков. И давно уже так повелось, что, увидев в длинной очереди учительницу, ученики бегут к ней: «Что вам выбить?»

Среди моих учеников, мальчиков 36-х — 40-х годов рождения, превалируют Викторы. Предвоенная страна ждала войны и победы. Может быть, я фантазирую, но ведь действительно я нигде больше не встречала такой концентрации Викторов. Думаю, что это не случайно. Украина — приграничная республика. А в шахтерском поселке, как всегда, все более явно, определено. Политически грамотный класс.

Я написала об имени и напоследок хочу записать малую историю о кличке. Воспоминаний много, но нельзя же рассказывать без конца. В школу приходит возбужденная мама одного из наших «отпетых»: «Их там целая банда! — кричит она. — И этот, и этот, и мой... И еще какой-то Ваня Курский». Учителя смеются. Ее чадо и есть Ваня Курский. Обаятельный герой Алейникова очень популярен в Донбассе. Если уж не в каждой школе, то в каждом поселке найдется хоть один, как минимум, свой Ваня Курский.

Сейчас уже и искусствоведы признают, что был у нас актер удивительной милоты и таланта, никогда не игравший главных ролей. А Донбасс признал его еще тогда — Ваню Курского из «Большой жизни».

## ХОЗЯЕВА

### 1

Маргарита Юрьевна, моя квартирная хозяйка, — женщина крупная — высокая, толстая, с короткими, почти седыми волосами. Умная, приветливая, занятая в разговоре.

Училась в гимназии и в доказательство любит цитировать: «Хочу быть дерзкой, хочу быть смелой, хочу одежды с себя сорвать...», чего в гимназии явно не проходили. Она учительница младших классов в нашей школе, часто жалуется на сложность программы: в 4-м классе — естествознание.

Ей как следует за пятьдесят, а мужу лет на двадцать больше.

Дед без всяких гимназиев дослужился до начальника станции, в память о чем в их комнате стоит огромный — от пола до потолка — портрет Кагановича.

Если ему кажется, что время позднее, а мы с его супругой заболтались, и мне пора уже слезать с его высокой кровати, он деликатно намекает: «Кгм... так сказать, баба с возу,



кобыли легче».

Любит читать газеты вслух и делает особое ударение на фамилиях в конце указов: «секретарь президиума... ШВЫРНИК!»

Я тоже пробую быть ответно деликатной: «Иван Федорович, мне бы к раковине подойти», но успеха это не имеет. Однажды он взрывается: «Вот вы из евреек и очень гордая. Не можете просто сказать: «Иван Федорович, отойдите от раковины». Нет: «Мне бы... подойти...»

Я жалуясь Маргарите на дисциплину в шестых классах, и она мне сочувствует. А когда я уезжаю домой на зимние каникулы, она, решив, что я сбежала насовсем, моет мне кости на педсовете: «Нам такие учителя не нужны!» Я возвращаюсь, и она легко восстанавливает наши любезные отношения. Потом я заболеваю гриппом, и она без экивоков просит адрес моих родителей: «Если вы умрете, что нам с мужем делать?»

В Сталино живет их дочка Аллочка, обожаемое родителями дитя. Хорошенькая, модница. Мама с дочкой презирают старика за неопрятность и некультурность, что не мешает ему Аллу обожать. Но вот и на его улице наступает праздник.

## II

В один прекрасный день Маргарита говорит: «Я сняла одну ученицу с занятий. Переросток, ей уже двенадцать лет. Поживет у нас, поможет деду по хозяйству. А я с ней буду заниматься вечером».

И начинается райская жизнь. В доме появляется высокая, худенькая, бедно одетая девочка, и бестолковому дедовскому хозяйству приходит конец. Пол ежедневно чисто вымыт, всегда топится печка, готовит Катя тоже хорошо.

По вечерам после коротеньких занятий у нас большие посиделки. Появление третьей собеседницы, милой девочки-подростка, оживляет наш с Маргаритой тет-а-тет. Сидим судачим втроем, лузгаем семечки. Катя уже успела нажарить огромную сковородку. В печке красный раскаленный уголь, тепло, уютно. Чувство уюта усугубляется тем, что никаких блюдец в роли пепельниц не допускается, шелуху — «лузгу» — сплываем на пол. Удовольствие, по моему, неведомое никому, кроме жителей местных поселков. Время от времени Катя встает, подметает пол, выбрасывает лузгу в печку. Снова чисто опрятно, плюой, сколько душа пожелает.

Похоже, жизнь эта нравится и самой Кате. Поселилась у учительницы, двоек не опасается, всегда сыта, вечерами — светский разговор.

И мне нравится Катя и ее появление в доме. Всем по сердцу

перемена и не мешает никому. Правда, меня смущает мысль: не смахивает ли наше раскрепощенное житье на крепостное право?

Беспокоит также некоторая незаконность ситуации. Как все же так? Учительница по собственной воле, никому не докладываясь, отлучила от уроков ученицу, совершенно постороннюю ей девочку, не племянницу, не дочь, и превратила, откровенно говоря, в прислугу. Правда, я понимаю, что с матерью девочки вопрос согласован. И все же... все же... Как-то это странно и, в общем, нехорошо.

Но кому нехорошо? Ведь нам всем стало лучше. Объективно лучше. Я уже не говорю о том, что сам факт беззакония чем-то приятен.

Но история-то дикая. Расскажи о ней в Харькове или в Москве, не поверят. Какое-то феодальное право. И тихая, порядочная, интеллигентная девушка-учительница не возмущается. Мало того. Мне особенное удовольствие доставляет то, что мы нарушаем закон.

Тихая-то я, конечно, тихая. И при этом ужасно застенчива. Тем не менее, дисциплину нарушала всегда. Уж не знаю, как это уживается с моей тихостью, но с уроков я впервые удрала во втором классе. Мало того, пошла в кино и смотрела страшный фильм с пытками «Степан Разин». Потрясение было огромным. Я убежала, не досмотрев фильм, и шла по улице, заливаясь слезами. Даже напугала каких-то хулиганов. Они было стали меня дразнить, но, увидев мою зареванную физиономию, растерялись: «А, ну ее...» Дома сразу уткнулась в Некрасова, он на меня утешительно действовал.

Потом привыкла. Сперва пропускала уроки, затем лекции. Я была отъявленной прогульщицей, с размахом. Уходила на целый день, шла в кино, бродила по городу, особенно по красивому, старинному Львову. Собственно, вся моя учебная жизнь прошла в прогулах.

Я терпеть не могу лгать. В самых неприятных ситуациях я не пользуюсь удобным случаем и рассказываю все, как есть, подставляя себя под удар. Прогулы – единственное, что побуждало меня отступать от правил. В самом деле, ведь не скажешь классному руководителю: «Нет, я вчера была здорова. Я просто три раза ходила в кино».

Столкнулись две мои черты и нелюбовь к монотонности, стремление выскочить из нудной колеи оказалось сильнее. Эта враждебность к колее проявилась и в том, как я маялась на всех заранее спланированных собраниях и радовалась, если они срывались. Однажды я сама сорвала собрание, преодолев застенчивость.

Монотонность, дисциплина, колея. Но ведь появление в нашем доме Кати как раз и было дерзким прыжком из колеи.

Чуть не на глазах у всевидящих районо и облоно, которыми нас, училок, непрерывно пугали, была нарушена дисциплина, а наша монотонная жизнь сменилась чем-то новеньким, веселым и опасным.

Все так и все не так.

Сорвать собрание, когда должны кого-то исключить из комсомола. Уйти с уроков, когда пятерками пестрит дневник. В первом случае чувствуешь себя чуть ли не Робинсом Гудом. Прогулы отличницы — какая в сущности ерунда.

А вот эта бледненькая двенадцатилетняя девочка, которую оторвали от семьи, подруг, нормальной детской жизни и держат взаперти, по-моему, невыносимо долго. Девочка, которая с утра до вечера стирает, стряпает, моет пол, топит печку, обслуживая двух наглых стариков...

Мне все меньше нравились наши уютные вечера у печки. Приключение затянулось, мне стало тошно.

Но все кончается. В один поистине прекрасный день Маргарита отпустила Катю. У нее был какой-то свой отсчет и инстинкт: не зарываться.

## В СТОЛОВОЙ

В столовой пьяный шахтер швыряет в стену бутылки. Пустых бутылок множество, тут же на полу. Он хватает их одну за другой, и, размахнувшись, как гранату, с остервенением шваркает в стену.

Обедающих — человека три-четыре, включая меня. За стойкой — неподвижная буфетчица. Бутылки гулко бухают о стену, со звоном сыплются осколки, шум, грохот, лязг. Никто не говорит ни слова и даже бровью не ведет. «Немец отступил!» — кричит шахтер.

Какой немец? Когда он был этот немец? Совсем недавно — десяти лет не прошло.

А быстро втягивает человека местный обычай. Я тоже ем свои биточки и бровью не веду. Тем более, понятие «шахтер гуляет» в моем представлении с детства, из отцовского «Степана Кольчугина».

Его, мало сказать, интересовали, — притягивали люди тяжелого труда. «Единственное, что я воспринимаю остро и полно, — писал он своему отцу (12 апреля 1928 г.) — это природа и тяжелый человеческий труд». И описал там умученного после смены, ехавшего с ним в трамвае старика рабочего».

Он писал о них все 30-е годы и много печатался — индустриальному государству нужна была эта тема. Но писал он о том, что волновало его душу, и книги выходили искренние, яркие Их читала и любила вся страна.

Потом пришла война, и его на всю жизнь захватила

военная тема.

А воевали-то люди труда. Шахта, война и снова шахта. Но война никем не забывается. Немец отступил!

### ТАЙКА БУЯНОВА

— Не жрет! — слышу я отчаянный крик, еще не войдя в учительскую. — И с молоком все равно не жрет! — Учительницы сочувственно качают головами. Это Тая Буянова, «словесник» 6-х классов, преподает русский язык и литературу.

Сперва я думала, что речь идет о ребенке. Теперь давно уж знаю: прихотлив в еде кабанчик.

Тая — самый темный луч в нашем учительском царстве. И внешне вся «расхристанная», и крикливая, и скандальная.

Как она преподает литературу, не пытаюсь догадаться. Мне бы сообразить, как в ее бедовой головке возникли слова «фрухта и «урода», которые она велит своим шестиклассникам склонять по типу слова «сирота». Тайкин скромный вклад в грамматику пустил корни, и ученики, увы, обогатили «фрухтой» свой словарь.

Зимой Тая узнает из газет, что против моего отца началась жестокая кампания в связи с романом «За правое дело».

— Твой отец — трус! — вопит она. — Он боится пойти и покаяться. Вот К. покаялся, а твой отец — трус!

— Был бы трус, давно бы покаялся, — огрызаюсь я.

Но Таю не переспоришь, глупость непобедима. Она орет так же пронзительно, как во времена кабанчика.

— У меня брат писатель! Вот он настоящий, хороший писатель. О нем такого не напишут. Ну, чего глаза вытарщила? Я правду говорю.

Действительно, как оказалось, правду. В том смысле, что машинист паровоза Буянов в самом деле пишет книги, как я прочла уже потом в «Литературке».

Ну, а сейчас что мне делать? Я переживаю за отца, я оскорблена, мне обидно, а возражения мои — горох о стену.

Против лома нет приема. С некоторых пор наши учительницы выяснили, что они избавлены от дежурства по школе. «Англичанка» согласна выполнять эту работу каждый день и никогда не отдыхать в учительской. Педагоги довольны: сидят, болтают. Я тоже нашла свой «прием». И ученики любят, когда я дежурю, особенно большие мальчики из седьмых классов.

Вот только Тая, может быть, огорчается, не находя выход эмоциям. Жуткое дело — эмоциональные натуры.

### АСТАХОВА

У Таи есть антипод — учительница математики Астахова.

Насколько Тайка распустилась, настолько «математичка» собрана. От нее веет истинной благотворной порядочностью. Говорят, она из лучших учительниц в школе. Не сомневаюсь, что так, хотя никогда с ней не сталкивалась, даже почти не разговаривала, в чем ничего удивительного – нет у нее времени на нас. Во всем ее облике, в каждом движении – сдержанная энергия, словно она боится расплескать то, что несет в класс вместе с циркулем и еще какими-то деревянными штуками.

Маленькая, большеносая, большеротая. Глаз не отведешь, как хороша.

### ЕМЕЛЬЯНОВА

В школе несколько отличных учительниц. Они очень разные. В дверь влетает женщина, вся в черном – и пальто, и платок. Лицо бледное, измученное. Глаза сияют лучистым светом. Она похожа на монахиню, которая долгим постом и молитвой сподобилась узреть чудо.

– У тебя что сегодня, день птиц?

– Нет, на опытном участке работали.

Это учительница биологии и химии. Коллеги относятся к ней хорошо, но слегка посмеиваются: уж с таким энтузиазмом творит она свой внеклассный подвиг. Нет, пожалуй, не с насмешкой, а с уважением относятся учителя к Анастасии Емельяновой. С уважительной усмешкой: «Вот она у нас какая».

А лицо у нее измученное оттого, что дома много тяжелой работы и муж – уже не помню: то ли больной, то ли пьющий.

Вот с ней мы разговариваем. Она мягкий человек и, при всей поглощенности школьным участком, не может обойти вниманием молодую учительницу, которая работает первый год и у которой не все ладится. «Ты к Наде Будниковой на урок сходи», – советует она.

### НАДЯ БУДНИКОВА

– Сходи, сходи посмотри, как хорошие учителя работают с классом. Сходи к Будниковой, сходи к Астаховой, – советуют мне и другие.

Я иду на урок украинского языка к Надежде Будниковой. Надя – единственная учительница в школе, не имеющая педагогического образования, – не то что в институте, даже в педучилище не училась.

Вообще-то, она зоотехник. Но когда-то давно в школу срочно понадобился учитель украинского. Случилось так, что обратились к Наде. И очень скоро выяснилось, что она прирожденный преподаватель.

Надя среднего роста; аккуратная, чуть полноватая фигурка; глаза светлые, русые волосы гладко зачесаны и собраны узлом. Женственная, уютная. Наверное, ее очень любит муж.

При всем, при том, войдя с ней в класс, я понимаю, что никаких вопросов дисциплины возникнуть здесь не может, а через несколько минут осознаю, что Надя – учитель от Бога. Урок не проходит, а пролетает – опрос, объяснение и т.п. незаметно перетекают друг в друга, не урок, а какой-то архитектурный шедевр, на редкость изящная композиция.

Я встречала учителей, которые, давая ученикам передохнуть, разнообразили урок шуткой, игрой, отступлением от темы. Они были талантливы. Надя Будникова ничего подобного не делает: только работа, но все время интересно.

Я не хочу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Это просто два разных стиля.

Так и в переводе. У одного блестящие отсебятины помогают сохранить подлинный дух, а другой переводит точно и ничего не теряет.

Вчерашняя студентка, я то и дело затевала на уроках словесные игры. Нечто подобное я делаю, и сейчас, занимаясь с детьми знакомых. Но сидя тогда давно, чуть ли не полстолетия назад на уроке украинского, я от души любовалась виртуозной работой, которую эта учительница, никому не ведомый донецкий самородочек, по несколько раз повторяла каждый рабочий день. Я радовалась, что пошла посмотреть, как Надя Будникова «работает с классом» и мне ничуть не мешало, что сама я так работать не смогу, а если бы смогла, не захотела.

Но чему-то очень важному я у нее научилась. Темпу. И необходимости продумать композицию.

## ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Когда я говорю, что у меня проблемы с дисциплиной, я чувствую некоторую неловкость: всем бы мои проблемы – шумок в классе, мелкие шалости, на которые я тут же реагирую. Был однажды случай. Перестреливались шариками из жеванной бумаги, сперва исподтишка, потом вдруг разбесились. Я писала на доске и чей-то шарик угодил мне в плечо. Я почувствовала, как меня залила тяжелая, безудержная ярость, то состояние, когда ничего не боишься и не перед чем не остановишься. За моей спиной, в классе наступила мертвая тишина. Я продолжала писать. Потом повернулась, спрашивала, объясняла в той же звенящей тишине. Выяснить отношения иногда – только портить. Мы друг друга поняли без слов. Вот такой у меня был самый

страшный эксцесс.

А мою подругу, учительницу другой школы, избил в пятом классе пьяный ученик. Бил по лицу, разбил очки, все лицо было изрезано осколками. Класс сидел тихо, никто не попытался остановить хулигана, никто не побежал за помощью. Боялись.

Донбасс жесток, поскольку шахта жестока, и жестокостью пропитана вся жизнь поселка. А самая оскорбительная жестокость – замалчивание аварий. Сто семьдесят гробов, и в каждом доме плач, а в газетах – ни словечка. Все начинается с жестокого, опасного труда, и кончается жестокостью гулянки.

Как мы, новенькие, только-только из домашнего тепла тряслись по воскресеньям, а нас пугали: «Это что! Вот будет День шахтера!» В классе никто не возмутился, когда пьяный мальчишка разбил очки на лице учительницы. Ужас, зверство. А недавно на праздник кому-то выкололи глаза. Ко всему человек привыкает, привыкает и к зверству.

В больших культурных городах, где я жила, на праздник не выкалывали глаз и в школе не били учительниц. Во всяком случае, в центре.

Но на этом кончается разница и следует, на первый взгляд неубедительное, правило, общее и для центра, и для слободки, и для столицы, и для поселка: ДИСЦИПЛИНА ЗАВИСИТ ОТ УЧИТЕЛЕЙ.

В нашу школу, в рудничном поселке ученики не приходили пьяными. Директор и завуч – дамы строгие, с характером. В школе много хороших учителей, а иные – очень хороши.

У Астаховой, у Будниковой, у Емельяновой ученики не позволят себе отпускать даже безобидные шуточки, как у нас – трех молодых учительниц.

Но ни одну из нас ученик не позволит себе хлопнуть рукой по плечу, как хлопают в соседней школе мою бывшую сокурсницу Зину. Они знают: мы, все трое, остро чувствуем границу между легкой неформальностью обстановки и хамством. Даже совсем небольшое приближение к этой границе.

Учительница украинского Надя Чурсина по секрету сообщает нам, подружкам, что когда она выходила из класса, ученик дотронулся до кончика ее пухового платка. «Я обернулась к нему, как фурия» – рассказывает она. Парнишка густо покраснел и извинился. Нет, ее не хлопнут по плечу. Ни одну из нас не хлопнут.

И еще одно, наверное, самое важное, что тоже от нас зависит – если мы в силах. В нашей школе есть учителя, у которых на уроках творится нечто невообразимое. Ученики

разгуливает между рядами, сидят на классной доске, свесив ноги, переговариваются через окно с прохожими. «Екатерина Васильевна! — слышу я голос сверху, проходя мимо школы. Поднимаю голову и вижу в окне второго этажа нахальную, ухмыляющуюся физиономию. — Екатерина Васильевна! А у нас физика!» Физик старенький, усталый, умученный. От учеников не ждет ничего доброго. Одна мечта — скорей бы кончились занятия.

Учительница географии не вылезает из депрессий. Её прихлопнуло сознание — жизнь пропала. Приехала из милого города Львова, веселая, полная энтузиазма, собирать материал для диссертации. Влюбилась в баяниста, больно был красив и хорошо играл на баяне. Вышла замуж. Погорела диссертация. Уже есть дети. Муж пьет, жену не любит и вообще совсем чужой.

Все кончено, все ни к чему и ничего не хочется. Неугомонный ученик Денисов (донецкие ударения), который и на других уроках норовит хоть постоять немного, до того ему не сидится, на географии все 45 минут делает вид, будто лезет на стену, изображая сумасшедшего. От этого рябит в глазах, в учительскую географичка входит, чуть не падая. Добрая, интеллигентная, мягкая. Такая же потухшая, как старенький физик.

Нет, строгий директор тут не поможет. Им бы в большой город, в тихий район и желательно в женскую школу. Но я вдруг вспоминаю, как в нашем женском классе заплакал старик чертежник, когда я, тихая, в общем, девочка, сдала ему чертеж, сделанный от руки, без линейки и циркуля. И стыдно мне, всю жизнь стыдно, и приходит в голову грустная мысль: вялому и слабому нельзя быть учителем.

То есть, апатичному нельзя, а слабому, вернее, мягкому можно, если он свое учительское дело любит. Если забегает в перерыве ученик и спрашивает: «А у нас сегодня будет такой урок, как в классе «б»?»

## ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ

Учителя дерутся. Учительница младших классов Валя, очень милая молодая женщина была под судом. Она надорвала мочку уха малышу из своего класса.

Я вижу, как доставляют провинившегося в учительскую. Тычками, с подзатыльниками, потом, достигнув места, парнишка может схлопотать и по морде.

Отрадно сознавать, что наши «звезды» в рукоприкладстве не участвуют. Зачем им? У них и так все в порядке.

Собственно, не участвуем и мы, три молодые «словесницы»: русский, украинский, английский. Однако нам случается временами силой выталкивать нарушителя



из класса. Тем более, что нарушители почти всегда восстают против изгнания.

Я даже иду дальше. Беру строптивного «изгнанника» за плечи, встряхиваю, дабы придать ему инерцию и оторвать от парты, если он в нее вцепился. После этого гораздо легче вытолкнуть дитя из класса — из них некоторые выше меня ростом.

Плохо, что дерется директриса, обаятельная, порядочная; вспыльчивая и добрая; изящная седая дама. Она еще из тех, земских учителей; утешая нас, начинающих, так славно рассказывает, как молоденькой учительницей приехала в деревню и была там одна одинешенька, и как осенью шумели на ветру тополя, и этот гул делал тоску совсем невыносимой.

Так вот, хорошая наша Ангелина Ивановна как-то на моих глазах, возмутившись, тыкала пятикласснику дневник в лицо. Вполне основательно тыкала, а дневник был картонный, твердый.

Говорят, физрук дерется крепко. Молодые учительницы обращаются к нему, когда не могут справиться сами.

Был и у меня один случай.

Пятый класс. Конец второй смены. В классе пыль столбом — под вечер совсем развинтились. И учителя устали, и ученики. Закономерно наступает момент, когда необходимо выгнать кого-то из класса, в данном случае ученика, сидящего на первой парте перед моим столом.

Конечно, он не хочет уходить. Вцепился в парту, да как! Никакими встряхиваниями не поможешь.

Как ни печально, но я произношу, наконец: «Сходите за Николаем Николаевичем».

Физрук приходит очень быстро и сразу берется за дело. Не тут-то было. Ученик попался необыкновенный. Маленький такой мальчугашка, а от парты никак не отлепишь, прилип, как клещ. Николай Николаевич уж принялся отклеивать его по частям. Одну руку, другую, ногу... Я стою рядом, красная — стыдно. Но ученик опять той же рукой цепляется, как только учитель ее отпустит.

Кончилось, наконец, у физрука терпение. Он схватил мальчишку обеими руками и дернул изо всех сил. Парта встала на попа, а наверху, как кошка на верхушке гладкого ствола, висит этот, намертво приросший. Победил нас все-таки. Оставили его в покое.

\* \* \*

А ведь получилось у меня однажды в этом же классе, тоже вечером на последнем уроке. Тоже пыль столбом; словно в густом тумане, тускло светит лампочка под потолком; и, как мелкие бесы, скачут, даже не замечая меня, в полном самозабвении мальчишки.

Урок пропал — яснее ясного. Урок еще не начался, но уже сорван.

Я с размаху хлопнула классным журналом по столу. И закричала во весь голос: «Тихо!»

Они умолкли на минутку от неожиданности. Пользуясь паузой, я выпалила быстро, рубленными фразами: «Класс к уроку не готов! Я ухожу в учительскую! Пусть староста доложит, когда класс будет готов!»

Сижу в учительской, жду в ужасе. Вот, вот, сейчас все эти осатаневшие мальчишки, которых я оставила в классе, вырвутся за дверь, понесутся по школе, с криками, с воплями, всё сметая на своем пути...

Вдали послышался шум, он разрастался, громче, громче и вот уж вся орда с криками и топотом приблизилась к учительской, все сметая ... Нет, это физрук ведет какой-то класс в спортивный зал.

Я успокоилась, и время потекло быстрее. В учительскую постучали, вошел староста, доложил по-военному: «Екатерина Васильевна, класс к уроку готов».

Получилось. И у меня получилось. Так неужели я должна каждый раз входить в класс в состоянии боевой готовности? Как актриса, всегда чувствовать себя на своем первом спектакле?

Чем больше я работаю, тем сильнее ощущаю: как актриса, именно, как актриса. Каждый шаг, каждый жест, каждое слово в состоянии полной готовности.

## ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА

Жуткий пустырь располагался между домом, где я жила, и школой. Особенно страшно там было зимой. Вьюга, темень, я иду из школы в этой вьюжной тьме под лихой разбойный свист и об одном мечтаю — скорей бы дом, калитка. Прохожих нет, а «разбойнички», хулиганье всегда невидимо присутствуют.

Помню, однажды в гололед добралась наконец до калитки, а она заперта. Хозяева поторопились укрепить свою крепость, а обо мне не подумали. Звонков в поселке не существует, а у моих хозяев и собаки нет. В таких случаях приходится лезть через калитку. А калитка-то обледенела. Я взбираюсь, лезу, падаю и снова лезу в неуклюжих больших валенках, все под тот же разбойничий свист.

Весной, конечно, стало легче. Но тут оно и случилось. Иду привычною дорожкой по пустырю, в сторонке крутится шпана, занятая своим «шпанским» делом — орут, дымят, скачут. И вдруг камень пролетел у самой моей головы. Кто-то крикнул: «Это тебе за ребят!»

Я сделала над собой усилие — очень большое усилие — и

подошла к мальчишкам. Разбойнички-то они разбойнички, но в то же время бывшие школьники и с некоторыми из моих учеников поддерживают связь.

«За каких ребят?» — спросила я. Крутятся, скачут, не отвечают. Я все стою — любознательная училка. «Из седьмого класса», — крикнул наконец насмешливый, ехидный голос.

Итак, ясно, и по голосу, прежде всего, — жалуются шестые «Б» и «В». Шестой «А» спокойный, благополучный класс. А уж седьмые и подавно не станут на меня капать.

Я вошла в учительскую на ватных ногах. Делиться ни с кем не стала, лихорадочно думала. Хватит, хватит хорохориться. Ведь не шуточное дело. Встретят в темном переулке — убьют. А вернее, не в переулке, а прямо там же, на пустыре. Надо быть благоразумней, натягивать тройки, поменьше выгонять из класса.

Сегодня вообще лучше не спрашивать никого из тех, кто связан со шпаной, думаю я, уже направляясь к классу. А может быть, как раз спросить? Нет, сегодня лучше их не трогать.

И в классе тот же страх, и скованность, и нерешимость. Зачем-то вызвала к доске одного из тех, кого собиралась в этот день избегать. Когда он начал отвечать, я еще думала: поставлю ему тройку. Ответил, поставила два.

И пошло. Всю компанию к доске, одного за другим. И каждому двойка. Чувствую, несет меня куда-то, страх совсем прошел. Встала перед классом: «Запомните, вот так всегда и будет! — говорю сердито, резко. — За такие знания — только два! Жалуйтесь своим друзьям, шпане этой на пустыре! Жалуйтесь! Сколько угодно!»

После этого урока пошла в другой класс. И там двоек наставила. Уже без колебаний.

Любопытная вещь. Когда подхватила меня эта волна, и я пере-стала бояться, я не почувствовала, что не боюсь камней, которые в меня могут бросить. Я твердо знала: никаких камней никто в меня бросать больше не будет.

## МОИ ПЕРВЫЕ

Анна Лукьяновна нашептывала мне на педсовете: «Ты всю жизнь их будешь помнить, никогда не забудешь, потому что это твои первые. И Чепкую не забудешь, и Соболева, и Водолазского. Вот увидишь, и Топчия не забудешь! Топчия я четко помню чисто внешне, — озорников я так уж специально не запоминала. Помню характеры и неожиданное, яркое в характере, помню то, что врзалось в память.

## СВОЕВОЛЬНЫЕ

### 1. ВАСЯ САЛТЫКОВ

Ограбили школьный буфет. Милиция определила, что грабитель — ученик нашей школы. Хищение шоколадных конфет в особо крупных размерах. В школу пришел следователь и стал вызывать подозреваемых. А подозревали «недисциплинированных». В их числе оказался Вася Салтыков, не мой ученик, но я хорошо его помню. Высокий, тоненький, красивый — синие глаза, черные волосы — интеллигентный, своевольный мальчик. Выйдя от следователя, он бурно разрыдался. Я подумала: какое идиотство подозревать много читающего, не привыкшего к поводку мальчика в том, что он может оказаться воругой. Говорили, он вдруг как-то притих. Не приведи Бог, навсегда. Такая вот история с чужим учеником.

### II. ВИТЯ МИХАЙЛОВСКИЙ.

И среди моих был такой же — Витя Михайловский. Не хулиган, своевольный. Английский учил с усердием, руку тянул ввысь отчаянно и сильно на меня обижался, если не спрашивала.

В нем ощущалось несомненное чувство чести. Никогда не говорил неправду, игнорируя последствия. Вхожу в пустой класс и непременно застаю там трех-четырех, обычно это мальчики. Спрашиваю, напустив на себя строгость: «Вы почему не на уроке физкультуры?» «Я заболел...» — сообщает плаксивый голос. «Я тапочки забыл...» — этот столь же жалостный. «А я не хотел», — резко отрубает Виктор.

В день смерти Сталина, когда рыдала вся учительская, я немного поддаюсь воздействию коллег, хотя имела на вождя народов собственный взгляд. «Что вы шумите в такой день?» — сказала я в их классе.

Виктор вскинулся: «Чем особенный день? Сталин сдох? Ну, и что такого?» В классе сорок пять человек. Я представляю себе, как всполошились бы наши училки, если бы кто-нибудь на него стукнул. Но обошлось, не вынырнуло за пределы класса. А ведь там были такие пионерки активистки!

Однажды в школу пришла его мама. Она не столько поразила тому, что жалуются все учителя, — была привычна, — сколько тому, что жалуясь я. «Это как же? Говорил, английский — уж такая хорошая, самая лучшая, и у хорошей тоже нарушаешь?»

Как было на него сердиться? Любил парнишка мои уроки с играми, потому и тянул руку чуть ли не до потолка, потому и возмущался, что не спрашиваю. Не зря я расшибалась в лепешку. Если уж кого я не любила, так индифферентных.

## ИНДИФФЕРЕНТНЫЕ

В многолюдных семи классах, где я учила английскому, только двое были абсолютно равнодушны к моим стараниям. Относились я к ним по-разному.

### 1. ФИЛИПОВ

Филипов сидел у меня перед носом, на первой парте с выражением тоскливой скуки, сильно свесив нижнюю губу. Я тоже, глядя на него, тосковала. Между нами установилось негласное соглашение. Когда его отвращение к уроку достигало невыносимых пределов, он трогал ручку на моем столе. Я тут же говорила: «Филипов, выйди». Он выходил, и оба мы были довольны.

Парень был хитер и прагматичен. Он знал, что надо иметь твердую тройку по русскому и математике, и тогда всяческие истории и географии ему не угрожают.

Он никогда ничего не знал. За весь год не ответил ни слова. Я ставила ему двойку за двойкой, в каждой четверти тоже стояло два. Он смотрел на меня с насмешкой, понимал: из-за английского он второгодником не станет. А в таблице уже стояли четыре двойки. По-моему, другие учителя не были столь последовательны. Во всяком случае, директор и завуч жали в основном на меня. «Вы что хотите стать сказкой района? Да всей области! Где это видано, из-за английского на второй год оставить?!»

Я не хотела быть районной сказкой, но слепить из единиц и двоек тройку тоже не могла. Кстати, ехидные ученики, зная ситуацию, именно это мне уже предлагали.

Я поставила ему двойку за год и на следующий день пришла в школу, готовая принять все, что на меня обрушится.

Но обрушилась на меня неожиданность. «Катя, — радостно зашептала моя подружка, молоденькая «украинка» Надя Чурсина. — Ты знаешь, сколько у твоего Филипова теперь двоек? — Моего! — Целых семь! И история, и география, и химия, ему все после тебя поставили».

## II. ЛИСТОПАД

Второй индифферентный, мальчик с красивой украинской фамилией Листопад долгое время был для меня загадкой. Живой, веселый, умный, симпатичный и абсолютно равнодушный к наукам. Учился он все же получше, чем Филипов, живость природы не позволяла гнуть так упорно свою линию, изредка что-то учил, но было ясно — ему скучно.

Тайна открылась, когда в школу пришла его мама. Такая же живая и симпатичная, как сын. «Вы ему дайте только седьмой класс закончить, — оживленно говорила она

учительницам, поворачиваясь то к одной, то к другой. — Вы не думайте, он дальше не пойдет учиться. Он хороший у меня, только учиться не любит. Он работу любит. Возьмет топор, аж весь трусится». Мы притихли. Слава Богу, тогда еще не было обязательного десятиклассного образования.

Интересно, а может быть, и у Филипова была какая-то неоткрывшаяся нам тайна, из-за которой так уныло свисала его нижняя губа?

А что это мы все тайна да тайна? Разве не бывает просто несимпатичных людей? И детей? Отчетливо помню: противный был парень, хитрый и наглый.

### ДЕВОЧКИ-ОТЛИЧНИЦЫ

В начале сентября меня предупредили: «У тебя в седьмом «А» одна ученица не ходит, Валя Чепкая. В санатории лечится, приедет через две недели. Но за нее не беспокойся. Эта все догонит».

В середине сентября в седьмом классе «А» появилась славная девочка с карими глазами и коричневыми косичками без бантов. Она всегда, но не назойливо, не отрываясь от парты, поднимала руку, отвечала прекрасно, и растаяло мое учительское сердце. Спрашивала я ее не часто, обычно, если не было других рук, а в классе хорошо учились. Но она не обижалась, я это видела по умным карим глазкам, и — по-прежнему невысоко — поднимала руку. В самом деле, нельзя же все время спрашивать Валю Чепкую.

Она дружила с Ниной Павловской, дочерью второй «англичанки». Анна Лукьяновна Павловская мне говорила: «Катя, я слышала, ты моей Нинке за четверошние ответы пятерки ставишь. Ты это брось, я не обижусь». Я и в самом деле чувствовала неловкость за то, что мой диплом вытеснил Анну Лукьяновну из старших классов.

Девочки дополняли друг друга: Валя — серьезнее, взрослей, Нина — еще с детской, шаловливой и застенчивой улыбкой. С какого-то времени они стали бывать у меня дома. С ними приходила Маня Коваль (донецкие ударения), веселая, бедовая дивчина, и Люда (кажется, Люда) Назарова, сдержанная, молчаливая. Все хорошие, все разные.

Однажды их застала у меня моя сокурсница Дора. После их ухода она крепко загрустила. «Я боюсь, — говорила она, с тоской глядя на меня большими светлыми глазами. — Как ты не понимаешь, мне страшно. Эти девочки тебя любят. Ты знаешь, что такое любимый учитель? А осенью они придут в восьмой класс, в мою школу. Как я с ними буду? Мне страшно».

Я не очень ее понимала, сама еще беспечная по-детски. Полюбили меня и ее полюбят. А девочки тем временем уже

готовились к экзаменам. «Екатерина Васильевна, — с серьезным видом говорила Валя. — Вчера Нина поносила советское радио. Она сказала, что оно гавкает».

Я представила себе их диалог. «Читай громче, ничего не слышу — радио мешает». «Сейчас я его выключу, пусть не гавкает».

Когда я уехала, они долго писали мне письма; судя по почерку, писала Валя. Потом уже в Москве я встретила Валу в кино. Она училась на истфаке МГУ. Говорят, она и сейчас в Москве. Лет на семь меня моложе; наверное, работает. Что ты делаешь, Валя Чепкая?

### ПЯТИКЛАССНИКИ

Если не считать безоблачную мою отраду, седьмой «А», где на редкость подобрались способные и доброжелательные ребята, если не считать седьмой «А», моя учительская душа находила радость и успокоение еще в одном классе, пятом, классе вовсе не благополучном, скомплектованном из разных классов нескольких начальных школ с окрестных шахт. И не только в том дело, что пятый класс был трудным, я вообще не любила учить малышей, чем старше ученики, тем мне было интересней.

Но из моих семи, четвертых — седьмых классов, этот был единственным, который впервые в жизни познакомился с английским языком. Чувствуя ответственность момента, я провела первый урок не без торжественности. Произнесла некую речь о распространенности английского языка на разных континентах, о великих писателях, не обойдя Диккенса и Шекспира, и добавила, что в конце года лучшие ученики получают английские книжки, которые сами смогут читать. Ребята впечатлились, на первом уроке в классе стояла мертвая тишина.

Потом, конечно, всякое бывало, но надо отдать справедливость — учили они английский, как ни один предмет. Даже самые неспособные вызубривали на зубок то, что поддавалось зубрению, и, случалось, получали четверки. Двоек в этом классе практически не было.

В середине года заболел и много пропустил Боря Кашук, маленький живой, с яркими карими глазами, и я стала с ним заниматься после уроков.

«И чего ты с этим Кашуком возишься? — уговаривали меня учительницы. — Он же из воровской семьи. У них никто не попадает в десятилетку. В тюрьму он попадет, как Виктор».

Но потенциальный «воренок» Борька уже постиг азы английской филологии и, радостно тараща карие глаза, тянул руку, жаждал быть спрошенным.

Весной я принесла к ним в класс несколько книжечек,

адаптированных английских сказок. Первым по праву книжку получил первый ученик, Коля Семенов, И непонятное, не то чтоб радостное, а какое-то щемящее чувство охватило меня, когда худенький, бледный, всегда по взрослому сдержанный мальчик, очень бедно и очень опрятно одетый, ошеломленно взглянул мне в лицо, закричал пронзительно, как зайчик, и помчался по классу непонятно куда, прижимая к груди сборничек английских сказок.

Одну из пяти книжечек получил и Борис Кашук, которого ждала не школа, а тюрьма.

### АМНИСТИРОВАННЫЙ из 7-го «Б»

А старший брат тем временем вернулся из тюрьмы. Год был наполнен событиями: врачи-убийцы, смерть Сталина и последовавшая за ней бериевская амнистия. Вот по этой-то амнистии и вернулся из тюрьмы Виктор Кашук, крепкий, сытый, в невесть откуда взявшихся после тюрьмы шевиотовых брюках. Он отсидел месяца два за уже упомянутое здесь ограбление школьного буфета и вот вновь сел за парту в седьмом классе «Б». У него было развитое чувство триумфа. Всем своим видом он показывал, что отсидеть в тюрьме — честь, которую не всякий может заслужить.

С учениками он держался героем, молодых учительниц поддразнивал. На моих уроках, например, все придерживал соседа по парте: не вставай, мол, перед ней, чего там еще вставать. Но сосед по парте, Вася Филин, мальчик с крайне независимым характером, всегда вставал. Некоторые учителя считали его чуть ли не хулиганом. Но он был последователен в своей независимости: не покорялся училкам, не покорялся и Кашуку. В учительской не без уважения говорили, что после седьмого класса он пойдет в «мореходку». Наши учителя знали все,

P.S. Да, вот вспомнилось еще. Однажды в столовой по чистой случайности я оказалась за одним столом с Виктором Кашуком и каким-то его приятелем, «Что будем заказывать?» — удивленно и настойчиво повторял приятель. Виктор, набычившись, столь же настойчиво отвечал: «Биточки». «И все?!» — возмущенно восклицал приятель. «Все», — отвечал Кашук. Чужой парень изумлялся, но я понимала: пить вино, сидя за одним столом с учительницей, Виктор Кашук не в состоянии. Патриархальные все же были времена.

### ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Эту историю очень любил мой отец. В местные советы выбирали нашу директрису и комсомольца-шахтера. В



школе состоялась встреча с кандидатами. Почтенная наша Ангелина Ивановна благодарила за честь и сказала, что недостойна. Молодой шахтер сказал: «Я, конечно, совершил подвиг».

Потом я была агитатором. Долго стояла у калитки, привлекая внимание сторожевой собаки, и уговаривала ее залаять. Собака лаяла, из двери выбегала старушка и радостно впускала меня в дом. Дальше следовал подробный рассказ о сложных отношениях с невесткой. Старушки искренне верили, что в этом и состоит работа агитатора. Я охотно приняла их версию.

И, наконец, выборы, торжественный день. Шум, суета, оживление, кое-кто уже и выпил. И вдруг вспомнили: «А урна?» На избирательном участке мужчин мало. Снарядили с урной физрука и молодого кандидата. А потом спохватились: «Да они в таком виде! Дойдут до дальних шахт? Нет, нет, бабы, так нельзя, надо женщин послать проверить, еще свалятся и заснут по дороге».

Время в суете летит незаметно. Не успели оглянуться, как вернулись командированные для проверки учительницы.

«Все в порядке! — сообщают радостно. — Куда не придем, везде говорят: как же, как же, двое пьяных с урной приходили».

Донбасс родименький! Как это нравилось отцу. Как он весело, по-доброму смеялся.

## ВОСПИТАНИЕ СЛОВОМ

Я заметила, что помимо битья существует и воспитание словом. «Тебя же всем обеспечили! — возмущается учительница. — Ты при коммунизме будешь жить! Все тебе дали! В нашей стране! Вот и шапка у тебя есть!» — и она тычет в провинившегося его ушанкой.

Заметила, значит, хочу применить. И хватаюсь за первый же повод. В любимом классе седьмом «А», где всегда все хорошо, выискала какую-то мелочь, право же, не помню какую, встала в позу и торжественно произнесла: «Ни в одной стране мира...»

Тут я почувствовала, что не могу проговорить ни слова — на меня напал неудержимый смех. Я быстро повернулась спиной к классу и отсмеялась вволю. Потом снова встала к ним лицом и, не вдаваясь в объяснения, продолжала урок.

Вот и все. На этом все и кончилось. Зная некоторых наших училок — ту же Тайку Буянову, историчку, злую полуинтеллигентную стерву, не сомневаюсь, что просочись из класса хоть словечко об этом эпизоде, на меня бы уж посыпалось. Хорошие ребята были в седьмом «А». И не верю я, что в каждой группе, классе сидел свой Павлик Морозов.

Он сидел только там, где был. Вот в учительской нашей несомненно сидели по меньшей мере двое Павликов в юбках.

### ВРАЧИ-УБИЙЦЫ

Это был поворотный, полный событий год. Несколько лет громили «безродных космополитов», то писателей, то композиторов, то — внезапно — театральных критиков. Мы привыкли, мы, случилось, уже и смеялись. Читали вслух забавный диалог из Козьмы Пруткова о собачке. «Как зовут?» «Космополит, сударыня». «Чем палит?» «Ничем не палит, просто Космополит».

А потом началось новое, совсем другое и стало по-настоящему страшно. Врачи-убийцы. Наше поколение не видело в газетах таких слов. Иван Федорович, он же дед, мой квартирный хозяин, читал вслух газету, путаясь в произнесении еврейских фамилий. Почти все врачи убийцы были евреями. Директриса собрала педсовет и просила нас не обращать внимания на то, что в списке врачей-убийц так много еврейских фамилий. Это просто совпадение, говорила она, мы интернационалисты и такими должны остаться. К евреям отношения не менять.

Я спрашивала потом знакомых, встречали ли они начальников, делавших такие разъяснения. Нет, никто не встречал. Все же было нечто в этих земских стариках, что утратил наш конъюнктурный век.

А предостережение не помогло. Историчка, красивая, почти интеллигентная дама, заходится от ярости, твердит, что нет людей хуже евреев, они такие, такие... По романтизму натуры я делаю вывод, что она была когда-то влюблена в еврея, и он разбил ей сердце.

Страх порождает агрессию. Рассказывают совсем страшное: возле рынка человек выбросил ненужные ему таблетки. И на него набросилась толпа.

Позже я узнала, что некоторые люди боялись ходить к врачам любой национальности. Боялись, что отравят.

Ранней холодной весной радио сообщило, что умер Сталин. Век не забуду стонущие голоса в эфире певиц плакальщиц, надрывавшихся все эти дни с утра и до ночи. И это общее повальное состояние лихорадки — мы все носились из одного школьного здания в другое, по мокрому снегу, без пальто.

Учительницы плакали и твердили, что мы пропали, нас завоюют враги. Я отчаянно спорила, убеждала: роль личности в истории невелика. Я была неправа — слишком верила «Краткому курсу». Роль этой личности была весьма значительна и смерть ее — тоже.

Едва успели смолкнуть траурные хоралы, как случилось

нечто, чего никто не ждал. Газеты сообщили: врачи-убийцы не виновны. При Сталине такого не бывало.

Приходили новые газеты, и мы с дедом, бывшим начальником станции, вязались в дикий абсурдный спор. Он все бухтел: «Нет, не все не виноваты. Вот тут двое, Коган и еще один, в списке арестованных есть, а среди тех, кого освободили, нету. Вот они и в самом деле отравляли». Я не знала, что эти двое умерли в тюрьме, но чувствовала: дед городит чушь, и спорила ожесточенно. Под конец, исчерпав аргументы, я со злостью спросила, совсем как баба в уличной перебранке: «Что вы прицепились к этому Когану, родственник он вам, что ли?» «У меня не бывает таких родственников!» — гордо ответил дед. «Кто вас знает. Вон какой вы выставили портрет!» И я ткнула в огромный, от пола до потолка, портрет Кагановича.

Один единственный раз в жизни старый антисемит приобщился к интернационализму в порыве любви к своему наркомму. И добродетель как всегда, была наказана.

### ЭКЗАМЕНЫ

Пришли экзамены, и школа вся в цветах, и учительницы наши с охапками сирени. Все, кроме меня, — экзамена по английскому нет. А мне так хочется тоже выйти из школы с цветами. Тем более, что мне их чуть было не подарили. Кто-то слышал разговор двух девочек: «Если бы я знала, что Екатерина Васильевна такая добрая, я бы обязательно принесла ей цветы».

Я добрая. Ассистируя на математике, я хожу между рядами, заглядываю в листки и указываю пальцем туда, где от волнения кто-то не сложил, а помножил. Ученица восклицает «Ох!» и торопливо начинает считать заново. И об этом знают все.

Я добрая, но я и справедливая. Однако никто из учеников не знает, как надолго затянулся педсовет, на котором я сражалась за Ваську Филина.

Вася Филин, яркий, остроумный парень, один единственный в своем несильном классе решил задачу. Он так волновался, что забыл поставить вслед за цифрами «кг», «кг».

Несколько человек списали у него. Они не волновались и не торопились, и поставили «кг», где нужно. Они получили пятерки, Вася — четыре.

Не буду описывать, как протекал наш спор, достаточно сказать, что и сейчас почти через полвека, когда так многое изменилось, хорошие учителя еще вчера мне говорили: педсовет был прав, а я — неправа. Работа была не оформлена, и это чрезвычайно важно.

Плохо яркому, плохо способному. Куда лучше крепеньким «хорошистам», они спокойно списывают чужую задачу, аккуратно проставляя «кэгэ». Вот когда Вася станет академиком, его работу кто-нибудь «оформит». Впрочем, Вася собирался в «мореходку».

Кто-то сказал мне, что такие ребята не только академиками не становятся, но даже не командуют катером. Не согласна. Решительно не согласна. Вот из таких-то и выходит настоящий толк... если они сумеют пробиться сквозь плотный слой оформителей.

### НЕМНОГО ЛИРИКИ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ БУДНЕЙ

«Екатерина Васильевна, — любезно сообщает мне моя квартирная хозяйка Маргарита Юрьевна, — сегодня высокий мальчик с тонкими чертами лица, — Маргарита явно меня цитирует, — бил ногами моего Бажана. По-моему, это ваш Голиков».

О том, что Голиков — мой, учительницы, конечно, знают. При тонких чертах лица у него были большие, строгие, серые глаза. Он вел себя подчеркнуто сдержанно. Что-то взрослое, мужское в нем ощущалось. После уроков первой смены мы с ним делали стенную газету. Она выходила часто, чуть ли не каждый день. Я сочиняла в стихах и прозе, Боря рисовал.

«Опять с Голиковым газету делала?» — спрашивали меня учительницы. «Ох, не будет из него толку! — восклицала Тайка Буянова. — Представляете, бабы, на днях отчим хотел его побить, Так мать не позволила, дала мужу пощечину. Ну, как можно так воспитывать? Разве выйдет из него человек?!»

Я слушала ее педагогический бред и с тоской думала, что моя мама ни разу в жизни не дала отчиму пощечину, вступаясь за меня. Какой же она молодец, эта женщина! И то, что нам обоим пришлось расти при неродном отце, сблизало тоже.

Английский Боря Голиков учил с таким старанием, как вряд ли что-нибудь еще учил. Он хотел получить у меня пять. Но за весь год я не поставила ему ни одной пятерки. Засыпала дополнительными вопросами, пока не попадался такой, на который он не мог ответить. И тогда я спрашивала Валю Чепкую. Я видела, что он страдает.

Юные джентльмены! Не обижайтесь на молодых учительниц, если они несправедливо строгие к вам. Это признак равнодушия.

## РОДИНОВЕДЕНИЕ

Владимир КОЛЕСНИКОВ

**НОВООСКОЛЬСКИЙ ДОМ ПИОНЕРОВ**

В 1959 году, спустя пять лет после открытия Новооскольского Дома пионеров, мне пришлось организовывать краеведческий туристический кружок. Это самое приятное событие в моей педагогической работе. Дети, учеба, природа, история, край наш благословенный – все объединено в познании мира, где мы существуем.

Несмотря на то, что краеведческого музея в городе нет, материальная база весьма условна, а детское внешкольное краеведение отсутствовало вообще, энтузиазм подростков высок, дети тянутся к новому, романтическому, неизведанному в их жизни.

Старое здание Дома пионеров всегда содержится в образцовом порядке. Ежегодный ремонт – неотъемлемая обязанность неутомимого директора Зинаиды Федоровны Семидоцкой – свято выполняется. Внутренние альфрейные работы принадлежат рукам лучших местных мастеров и всегда изысканны. А фасад здания самый аккуратный на улице Гражданской.

Методическое обеспечение осуществляется не как школьное назидание, а как объединение всех полутора десятков кружков в единый воспитательный учебный процесс. Ни один из кружков не обходится без методической помощи квалифицированного методиста Надежды Петровны Дикаревой. Она не только осуществляет методическую деятельность по координации и объединению всей работы, она душу вкладывает в каждого юного кружковца. Сильно переживает, если кто-то из ребят, а они все талантливые, одаренные, по какой-либо причине оставлял кружок. Надежда Петровна – прирожденный организатор внешкольной работы.

Несколько позже в творческий педагогический коллектив органически влились молодые педагоги-пионервожатые Людмила Александровна Валетова и Вера Андреевна Третьякова.

Наш кружок – составная часть всего многообразия

---

\* Из книги В. Колесникова «Новооскольцы и Новоосколье». – Белгород, «Отчий край», 2003.

направлений внешкольной работы Дома пионеров. Самые многочисленные кружки в начале шестидесятых годов — авиамодельный, художественный и драматический.

Авиамодельный кружок, которым руководит Аркадий Сергеевич Дементьев, многих своих питомцев вдохновил к дальнейшей учебе в авиационных институтах. Слабенькая материальная база не смущает Аркадия Сергеевича. Его модели, заполненные прочными шпангоутами, спрингерами и лонжеронами, своими безупречными полетами снискали широкую признательность, собрав внушительную коллекцию призовых кубков, вымпелов и наград. Из чего он только их собирает, ума не приложу. В готовом виде они мне представляются чем-то изготовленным промышленно.

Ацетоновый запах краски и клея постоянно создают атмосферу серьезности и деловитости юных авиамodelистов, а специальная терминология отдельных элементов и частей авиамodelи придает кружковцам нарочитую суровость.

Самое интересное зрелище, когда ватага кружковцев по Гражданской отправляется на местный аэродром. По дороге группа из полутора десятков авиамodelистов вырастает до полусотни подростков, возбужденных предстоящим красочным видом полетов.

Кружок изобразительного искусства, или как его называют, «рисовальный», отличается не только многочисленностью юных художников, но и глубокой серьезностью. Я бы сказал, академический подход к творчеству — отличительная черта Ивана Александровича Зинковского. Он не делает никакой скидки на возраст. Работает с детьми как равный с равными, как взрослый с взрослыми. И эта серьезность находит конкретное отражение на мольбертах. Иван Александрович учит ребят видеть мир глазами художника, прекрасный мир жизни.

Много радости ему принес талантливый, одаренный Миша Мартынов. Работы воспитанника детского дом Николая Кругового отличаются зрелым содержанием и хорошей манерой исполнения техники — карандашная графика и акварельная живопись. Он продолжил обучение в художественном училище.

Драматический или театральный кружок — любимое детище директора Зинаиды Федоровны. Основу репертуара детских спектаклей составляют инсценировки по произведениям русских классиков, таких как Гоголь, Тургенев, Фонвизин. Самодеятельные спектакли увлекательны не только для участников постановки, но и привлекают в зрители многочисленную ребятню. Спектакль

всегда превращается в столпотворение.

Юных зрителей так много набивалось в помещение, что в коридоре и входных дверях не было свободного места. Детская потасовка за право проникнуть на спектакль – явление не редкое. Озорники умудряются не только протиснуться в зал, но и занять почетное место на полу у сцены.

С началом спектакля воцаряется тишина. Юные зрители живут вместе с персонажами пьес. Особым артистизмом выделялся Саша Товарищев. Своих героев юный артист трактовал со всей свойственной ему серьезностью. Атмосфера спектакля увлекает детское сознание, заставляет радоваться и переживать с героями этих театральных постановок.

Краеведческий кружок имеет свою особенность. Основная и самая ответственная часть работы кружка проходит вне стен Дома пионеров. Это ко многому обязывает. Туризм – не бесцельное времяпрепровождение. Его даже активным отдыхом назвать весьма сомнительно. Туризм, а тем более краеведческий – познание среды обитания человека во времени и природе.

Край наш – безграничный исторический полигон для безграничных поисков и открытий.

Во всем природном многообразии живет вековая история. Царев Алексеев (Новый Оскол), Белгородская черта (Турецкий вал), Кальмиусская сакма (дорога), Холковский монастырь (Холковские пещеры), грозное рождение Первой Конной армии (Великомихайловский мемориал), мужество новооскольцев в годы Великой Отечественной – это и есть объекты краеведения. Конкретные объекты.

Занятие нашего кружка – изучение предстоящего объекта исследования с приобретением навыков индивидуальной подготовки. Это включает в себя не только изучение снаряжения похода, но и отработку отдельных элементов предстоящего маршрута и походного быта: преодоление естественных препятствий, установка палатки, разведение костра, работа с картой, хождение по азимуту.

Часть снаряжения тяжеловата для детских плеч. Облегчая походные условия детям, всегда в многодневных походах с нами лошадь Рождественского отделения совхоза с повозкой. Поход – подведение итога многодневных тренировок. В походе нет мелочей. Здесь ответственность за детей приобретает конкретную форму. Итогом становится радость детского познания и ощущения физического совершенства.

Первыми нашими новооскольцами, сдавшими норматив

«Турист СССР», стали Иван Гоцул, Алла Журавлева, Анатолий Дикарев, Геннадий Дегтярев, Владимир Стребков, Анатолий Самойленко. Сдача нормативов требует физической подготовки на уровне кандидата в мастера спорта.

Краеведение не оставляет равнодушными моих городских коллег. Так Давлет Закирович Хазиев, прекрасный педагог, инвалид войны, всегда меня спрашивает после походов, что мы увидели и нашли. А самый приятно-иронический вопрос его всегда звучит с юмором одинаково: «Не попадалась ли вам на счастье подкова древних татарских конников?» Давлет Закирович, прекрасный педагог, хорошо владеющий историческими анналами, мой самый искренний консультант. Знающий бесчисленное множество татарских легенд и преданий, он щедро делится этой жемчужной россыпью самобытной народной культуры.

Районный Дом пионеров – устоявшаяся, проверенная временем система внеклассной работы с учащимися. Другой пока нет в природе. Составная часть всей воспитательной работы педагога.



## **Авторы журнала** *Биографические справки*

**БАЛАНОВСКАЯ Наталия Кирилловна** родилась в Якутии. Там же окончила медицинский институт. Основная профессия – врач. Стихи начала писать с 1950 г. Автор пяти поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Харькове.

**БИНКЕВИЧ** Алексей Станиславович родился 15.11.1943 г. в г. Джамбуле (сейчас Тараз), Казахстан. Закончил Самборский (Львовской обл.) статистический техникум. Поэт, переводчик. лауреат муниципальной премии имени Бориса Слуцкого и Международной литературной премии имени Расула Гамзатова. Живёт в г. Харькове.

**ЕРОФЕЕВА – ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна** родилась и живёт в Омске. Окончила Московский Коммерческий институт, юридический факультет МЭСИ. Секретарь правлений Союза писателей России и «Ассоциации писателей Урала», Председатель Омской организации СПР, член-корреспондент «Академии поэзии». Лауреат премии им. Л.Мартынова.

Автор шести поэтических книг. Публиковалась в центральных и региональных литературных журналах, еженедельниках, антологиях, хрестоматиях русского языка и литературы, поэтических альманахах, в омских коллективных сборниках и др. Стихи переводились на болгарский и немецкий языки. Соавтор нескольких музыкальных дисков «Созвучье нот и слов» (Омск). Живёт в Омске.

**КАТАЕВА** Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу закончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Огонёк», «Смена», «Радуга», «Москва», «Донбасс», «Слобожанщина», «Славянин», в «Литературной газете» (Москва) и «Новой литературной газете» (Киев). На украинском языке – в «Літературній Україні» и в журнале «Прапор-Березіль». Подборка стихов на украинском языке вошла в книгу «А українською – так» (Антологія російської поезії України. Київ, 2011). За работу с творческой молодежью и книгу стихов «Харьков – судьба моя» в 2005 году удостоена звания «Харьковчанин года». Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого.

Живёт в г. Харькове.

**КЕРДАН** Александр Борисович родился в 1957 г. в городе Коркино Челябинской области. Сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Автор 40 книг стихов и прозы. Лауреат Большой литературной премии России, национальной премии имени А.С. Грина и др. Заслуженный работник культуры РФ.

Живёт в Екатеринбурге.

**КОЛЕСНИКОВ Владимир Илларионович** (27.07.1918-13.09.1999) родился в Новооскольском уезде Курской губернии. Окончил Новооскольское педучилище. С 1939 г. в рядах Красной Армии. 3 июля 1941 г., находясь в окружении, раненый боец оказался в плену. Прошел пять концлагерей Литвы, Польши, Восточной Пруссии. В апреле 1945 г. был освобожден из плена и сразу призван полевым военкоматом в действующую армию. В декабре 1945 г. демобилизован, как работник просвещения. Окончил Старооскольский государственный учительский институт. Создал в 1967 г. Новооскольский краеведческий музей (историко-революционный). Организовывал ежегодные районные слёты краеведов-туристов. Сохранившиеся публикации и фотографии походов и слётов 60-70-х годов прошлого века стали частью истории краеведения Белгородчины.

**КОРОТКОВА** Екатерина Вальевна родилась в Киеве. Закончила Харьковский институт иностранных языков (англ. отд.). Профессиональный писатель и переводчик. Специализируется на английской классической прозе XIX и XX веков.

Живет в г. Москве (Россия).

**МЕЛЬНИЦКАЯ** Инна Владимировна (Гаврильченко, урождённая Оскнер) родилась в Харькове в семье педагогов. Закончила Харьковский институт иностранных языков (1949) и аспирантуру при нём (1952). Занималась преподавательской деятельностью. Переводы её печатались в журналах и выходили отдельными изданиями. Проза переводилась на украинский, белорусский, молдавский, мордовский и итальянский языки. Награждена итальянской юбилейной медалью Ass.Naz.Alpini (1943-1993). Лауреат международной премии им. Долгорукова, премии им. Б.Слуцкого, юбилейной премии журнала «Радуга». Член Национального союза писателей Украины (1997), Союза писателей России (2007).

Живёт в г. Харькове.

**МИХАЙЛИН** Игорь Леонидович родился в 1953 г. в Харькове. Окончил Харьковский государственный университет им.М.Горького (1976), в котором работает, пройдя путь от преподавателя до профессора. Автор 345 научных и научно-популярных работ, учебников по журналистике. Член Национального союза писателей Украины. Почетный гражданин г. Мерёфы (Харьковский р-н, с 1997).

Живет в Мерёфе.

**ОСИПОВ** Вадим Вениаминович родился в 1954 г. в Свердловске. Член Союза писателей, заместитель председателя Екатеринбургского отделения СП России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. Автор нескольких книг стихов.

Живёт в Екатеринбурге.

**ПОЛЯКОВА** Ирина Николаевна (Ирина Глебова) родилась в Харькове. По образованию – журналист. Член Союза писателей СССР. Член Национального союза писателей Украины, член Союза писателей России. Первые книги стихов издавались под псевдонимом Ирина Полякова. Первая книга прозы «Никогда

в этом мире» (1996) увидела свет под именем Ирины Глебовой. С этого времени известна как прозаик. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в г. Харькове.

**ПОТИМКОВ** Сергей Юрьевич родился в 1954 году в Харькове. Закончил Харьковский государственный университет им. М.Горького. Работал преподавателем в харьковских вузах. Служил военным переводчиком в Уганде и Эфиопии. Заслуженный журналист Украины. Автор популярных теле и радиопередач. Работал в качестве приглашенного преподавателя на факультете журналистики университета штата Мэн (США). Дважды избирался депутатом Верховной Рады Украины. Автор пяти книг. Живет в г. Харькове.

**САВЕЛЬЕВ** Константин Васильевич родился в 1957 году. Учился в техническом ВУЗе и Литинституте, печатался в различных журналах, альманахах, сборниках. Первую книгу издал в 1993 году, после этого в периодике не печатался. Живет в Харькове.

**СЛАВЯНИН Виктор Петрович** родился 19 февраля 1943 г. в хуторе Пинчуки Васильковского р-на Киевской обл. Окончил Киевский политехнический институт. Работал в институтах Академии наук УССР. С 1976 г. в Москве. Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Первая публикация: в газете «Літературна Україна» в 1967 г. – перевод стихов Т. Шевченко на русский язык. Работал литературным редактором в редакциях литературных журналов и издательств Москвы. («Молодая гвардия», «Столица», «Современник»). Публикации в журналах СССР, России, Украины, Молдавии, США, Австралии. Автор шести книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в г. Москве.

**СМОЛЕНСКАЯ** Светлана Алексеевна родилась в г. Харькове в семье служащих. Закончила архитектурный ф-т Харьковского инженерно-строительного института (1977). Кандидат архитектуры (1993), доцент. Печатается как поэт с 1972. Переводит укр. поэзию. Член НСЖУ (1999), член СП России (2012). Живет в г. Харькове.

**САВИЦКИЙ Борис Юрьевич** родился в 1938 году в г. Харькове. Учился в Харьковском институте инженеров транспорта. Работал в депо ЮЖД на разных должностях. На протяжении многих лет печатался в областных и республиканских газетах. Живет в г. Харькове.

**СТРЯПКО** Анатолий Петрович (1944-2003). Закончил Харьковское художественное училище (1967). Работал художником на предприятиях Харькова (с 1967). Автор трех книг стихов.

**ТИХОНОВ** Александр Александрович родился 19 мая 1990 г. в п. Большеречье. Выпускник ОмГПУ. Стихи и проза печатались в коллективных сборниках, альманахах, периодических изданиях Омска, Тары, Москвы, Ярославля и др.

Лауреат регионального семинара молодых литераторов (2010, 2012), финалист всероссийского литературного конкурса имени Льва Ошанина (2012).  
Живет в г. Тара (Омская обл.)

**ШЕЛКОВЫЙ** Сергей Константинович поэт, эссеист, литературный критик. Родился 21 июля 1947 в г. Львове. Закончил инженерно-физический факультет Харьковского политехнического института (1971) и аспирантуру при нем. Автор научных публикаций в области прикладной математики и механики. С 1973 г. публикует литературные произведения. Член Союза писателей СССР и Союза писателей Украины (1989), Международной ассоциации писателей и публицистов (2006). Автор более 20 книг стихотворений и прозы. Публиковался в Украине, России, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Великобритании, Дании, Израиле, Латвии, США, на Кипре и др. Стихотворения переводились на украинский, болгарский, грузинский, немецкий, английский и французский языки. Член жюри Международного фестиваля русской поэзии «Эмигрантская лира» (Бельгия). Награды: Международный орден Святого Станислава — за вклад в литературу и культуру; премия им. Б. Слуцкого (2000); премия им. Н. Ушакова (2001); международная премия им. Ю. Долгорукого (2007)  
Живёт в г. Харькове.

**ЯГОДИНЦЕВА** Нина Александровна – выпускница Литературного института имени Горького, член Союза писателей России. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор более 20 книг, поэтических переводов и ряда публикаций в литературной и научной периодике. Лауреат Всероссийских и Международных литературных, научных и переводческих премий.  
Живет в Челябинске.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ

Сергей Шелковский. Рождество .....	3
Мария Грабовская. «Небо отодвигается. Холодней» .....	4
Сергей Потимков. «Как снег летит!» .....	5
Светлана Смоленская. «Неслышный, неспешный, неколкий» .....	6
Наталья Балановская. Мой свет .....	7
Алексей Бинкевич. Первый снег .....	8
Леонид Осипов. «Зима всерьёз» .....	9
Александр Тихонов. Межсезонье .....	10
Инна Мельницкая. Гололёд .....	11
Константин Савельев. «Метели разомнут осенние червонцы» .....	12
.Ирина Полякова. «В день светлый, выбеленный снегом» .....	13
Валентина Ерофеева-Тверская. «Дождится январь, привнеся необычность» .....	14
Янатолий Стряпко. «В день всепрощающей любви» .....	15
Римма Катаева. Странная зима .....	16

### ПРОЗА

Александр Кердан. Были-небыли .....	17
Виктор Славянин. Непрочитанное письмо .....	54

### ЛЮДИ. КНИГИ. ЖИЗНЬ

Римма Катаева. Жизнь и судьба .....	113
Борис Савицкий. Доля людская .....	131

### ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Сергей Шелковский. Харьковские годы Георгия Шенгели .....	143
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Нина ЯГОДИНЦЕВА. Близкое дальнее .....	174
--	-----

### ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ЮБИЛЕИ. ПРАЗДНИКИ

Игорь Михайлин. Поэт — это лекарь, лечащий словом .....	180
Государственная стипендия нашему коллеге .....	189

### МЕМУАРЫ

Екатерина Короткова. На окраине империи .....	190
---	-----

### РОДИНОВЕДЕНИЕ

Владимир Колесников. Новооскольский Дом пионеров .....	223
--	-----

АВТОРЫ НОМЕРА .....	225
---------------------	-----

*Литературно-художественный журнал*

## **СЛАВЯНИН**

№19

Гл. редактор Л.И. Мачулин

Корректор *А.Н. Балабанова*  
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*  
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 13.13.2013. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.  
Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCondСТТ. Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л.  
27,70. Изд. №1. Зак. №\_\_\_\_. Тир. 500 экз.

**Учредитель:** 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».  
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

**Адрес редакции для писем:**  
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.  
e-mail: editor01@list.ru

**Издатель: Мачулин Л.И.**  
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.  
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.

**ISSN 2221-9331**